

Михаил Волконский

Тайна герцога



Михаил Николаевич Волконский

Тайна герцога

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=127349

Аннотация

«В конце тридцатых годов восемнадцатого столетия Невский проспект тянулся от Адмиралтейства, построенного Петром Великим, до моста на реке Фонтанной, который считался выездным пунктом города. Но уже и тогда город на самом деле не прекращался тут, и за Фонтанкой от моста застраивались дома по сторонам дороги к Александро-Невской лавре. Эти дома кончались длинным двухэтажным зданием на том месте, где теперь проложена Пушкинская улица, и в нем находилась лавка товаров незатейливого крестьянского производства, необходимых в домашнем быту. Деготь с баранками играл в этой торговле видную роль...»

Содержание

I. Невский проспект	6
II. Соловей	11
III. Загадка	15
IV. Дело осложняется	20
V. Ночные тени	24
VI. Митька Жемчугов	28
VII. Дитя природы	33
VIII. Барон дает о себе знать	39
IX. Князь Шагалов	45
X. Ночное приключение	50
XI. В тайной канцелярии	55
XII. Подноготная	60
XIII. Так и сделали	64
XIV. Кому горе, кому удача!	70
XV. Герцог Бирон	74
XVI. Доклад	79
XVII. Струг навыверт	84
XVIII. Женщина	89
XIX. Резолюция	95
XX. Пирушка	100
XXI. Иоганн	107
XXII. Освобождение	113
XXIII. Недоумение	117

XXIV. На деле	122
XXV. Неожиданность	127
XXVI. Жемчугов ничего не понимает	130
XXVII. На куртаге	138
XXVIII. Иоганн действует	145
XXIX. Соглядатай	150
XXX. Поджигатель	157
XXXI. Допрос	162
XXXII. Доктор Роджиери	168
XXXIII. Помещица	175
XXXIV. Сумасшедший или нет?	181
XXXV. Что было с Соболевым	187
XXXVI. Иоганн имеет причины сердиться	194
XXXVII. Продолжение предыдущей	202
XXXVIII. Действо разгорается	206
XXXIX. Порченная	212
XL. Кровь	220
XLI. Цветочки	229
XLII. Ягодки	235
XLIII. Непонятное станет впоследствии понятно само собою	242
XLIV. Иоганн продолжает сердиться	250
XLV. Попутчики	257
XLVI. Секретное письмо	264
XLVII. Польский Бирон	269
XLVIII. Что случилось с Брюлем	275

XLIX. Талисман	281
L. Силки	287
LI. Условие	295
LII. В Петергофе	302
LIII. Рассказ Ахметки	309
LIV. Затруднительное положение	316
LV. Митька действует	320
LVI. Здравствуйте, господин иоганн	326
LVII. Двое мужчин	332
LVIII. Коса на камень	336
LIX. Затишье	345
LX. Осень	349
LXI. Маленький ужин	354
LXII. Хорошая девушка	362
LXIII. Генерал и его секретарь	368
LXIV. Приехали	375
LXV. Ревность	381
LXVI. Пятого октября	387
LXVII. Что видел Соболев	391
LXVIII. Конец тайны герцога	397

Михаил Волконский

Тайна герцога

I. Невский проспект

В конце тридцатых годов восемнадцатого столетия Невский проспект тянулся от Адмиралтейства, построенного Петром Великим, до моста на реке Фонтанной, который считался выездным пунктом города. Но уже и тогда город на самом деле не прекращался тут, и за Фонтанкой от моста застраивались дома по сторонам дороги к Александро-Невской лавре. Эти дома кончались длинным двухэтажным зданием на том месте, где теперь проложена Пушкинская улица, и в нем находилась лавка товаров незатейливого крестьянского производства, необходимых в домашнем быту. Деготь с баранками играл в этой торговле видную роль.

Дальше, к лавре, по сторонам дороги рос густой лес, где «шалили», как говорили тогда про грабежи разбойников и их нападения на проезжих.

Тут, в лесу, разбойники держались до самого царствования Павла Первого, который особым указом сделал распоряжение, чтобы лес вырубил на три сажени по сторонам дороги к Невской лавре, «дабы лихим людям не повадно было невзначай выскакивать и нападать на проезжающих».

Неподалеку отсюда была Ямская слобода, оставившая свой след и до сей поры в названии нынешней Ямской улицы. Тут были совсем свои особые нравы и даже праздники с занесенными и образовавшимися неведь откуда обычаями. Здесь царили разгул и лихва, олицетворенные прежде всего быстрой ездой ямщиков и внедрившиеся в их жизнь.

Ввиду всего этого местность за Фонтанкой, за исключением лишь самого берега реки, на котором были расположены летние дворцы богачей, не пользовалась хорошей славой, и народ здесь гулял шибко по кабакам, а баре и офицеры езживали сюда в трактиры и рестораны того времени, называвшиеся еще, по петровскому названию, «гербергами».

Здесь проезжие чувствовали себя за городом, а потому держались вольнее, и происходили постоянные безобразия — то есть «буйства», когда безобразил простой народ, и «шкандалы», как тогда называли «буйства» благородных.

Сам Невский проспект только по ширине не уступал нынешнему, а во всем остальном был так же далек от последнего, как теперешняя улица уездного города. Ни Аничкова дворца, ни других богатых домов еще не существовало, и «Невская перспектива», как тогда называли нынешний проспект, была окаймлена невзрачными деревянными строениями.

На месте нынешнего Казанского собора воздвигалась длинная церковь с куполом на крыше и со шпилем на колокольне, таким же, как на соборе Петропавловской крепости.

У Полицейского моста, названного так потому, что тут было тогда здание полиции, стоял одноэтажный каменный театр, называвшийся «Оперным домом». Единственным украшением Невского были деревья, посаженные по обеим сторонам его в два ряда и подстриженные шаром, да Адмиралтейская игла со своим корабликом светилась, как и нынче, при закате в перламутровых петербургских сумерках.

Однако оживление на Невском царило и тогда большое. По бревенчатой мостовой, в иных местах подымавшейся, как клавиши, катили кареты богачей, раззолоченные, на высоких стоячих рессорах, с зеркальными стеклами в окнах, запряженные четверкой, а то и шестеркой цугом, с форейторами; тут же трусили берлины и брички господ средней руки и просто телеги, и шли обозы с кладью, товарами и зерном.

Богатства России с суши в обмен на предметы роскоши, подвозившиеся с моря, стягивались в петербургское болото, чтобы создать на нем каменный город.

Под деревьями по сторонам Невского двигалась пестрая толпа разнохарактерного люда, не объединенного тогда одним европейским костюмом. Наряду с русскими армяками здесь виднелись кафтаны иностранцев, халаты татар, типичное одеяние персов, чалмы турок и даже наряды придворных китайцев и других азиатов. Эти татары, турки и азиаты особенно пестрели свою одежду в тогдашней петербургской толпе и придавали ей необычайную живописность.

Часто попадались военные люди в своих высоких ботфор-

тах, треугольных шляпах и мундирах с красными отворотами и обшлагами.

Дамы и барышни пешком по улицам не ходили, а только ездили в экипажах и гуляли в Летнем саду, на Царицыном лугу, бывшем тогда действительно лугом с цветами и кустиками, и в собственных садах, которые имелись при каждом барском доме.

В один из майских вечеров среди этой толпы пробирался молодой человек, одетый не особенно щегольски, но далеко не бедно, в кафтане немецкого покроя, что служило признаком несомненной солидности, так как легкомысленные модники того времени носили французские фасоны; в руках он держал высокую палку, с красивым золотым набалдашником. Шел он лениво и нехотя.

Знакомство у него было, по-видимому, большое, потому что он по пути несколько раз раскланивался со встречными. Впрочем, это было немудрено, так как общество Петербурга того времени было по численности не больше населения теперешнего губернского города, где все друг друга знают. Иван же Иванович Соболев, как звали молодого человека, принадлежал к старинному дворянскому роду, имел средства, считался вследствие этого хорошим женихом, а потому был принят везде особенно радушно и был знаком со многими.

Он шел, недовольно постукивая своей тростью и словно даже негодуя на чудный светлый майский вечер, продушен-

ный запахом свежеразвернувшейся молодой листвы.

II. Соловей

Соболев шел и сердился на свою слабость, а эта его слабость состояла в том, что он никогда не мог отделаться от того, чтобы не согласиться на уговоры других людей сделать что-нибудь, чего самому ему вовсе не хотелось.

Так было и на этот раз. Сожитель Соболева, «бесшабашный» Митька Жемчугов, уговорил его отправиться за город, за Фонтанную, в герберг на попойку.

Сам Иван Иванович и вино-то не любил, а уж до попоек и «огульного», как он называл, пьянства и вовсе не был охотником, но по своей удивительной податливости согласился и дал слово, что будет сегодня вечером в герберге в назначенный час.

Обыкновенно в эти герберги, за город, ездили либо верхом, либо на тройке, у кого таковая, разумеется, была.

У Соболева тоже имелась собственная тройка, но он уступил ее на сегодня Митьке, который повез в ней целую компанию таких же, каким был и сам он, молодых людей. Иван Иванович сказал, что приедет верхом, но в последнюю минуту велел расседлать лошадь и отправился пешком, с явным расчетом сдержать свое слово, т. е. все-таки явиться в герберг, но с таким опозданием, чтобы застать попойку в самом разгаре, показаться лишь на ней и затем уйти.

Соболев шагал со своей длинной тростью с дорогим на-

балдашником под деревьями Невского проспекта, и ему было досадно и вместе с тем смешно: в самом деле, он «шел» в герберг, точно богомолка в монастырь по обету, по образу пешего хождения.

Положение было до того нелепо, что спроси кто-нибудь из встречных знакомых Соболева: куда он идет? – он, человек правдивый от природы и ненавидевший ложь, солгал бы, не решившись признаться, что направляется в герберг пешком.

Пока он шел по Невскому, его еще не оставляла некоторая бодрость, но когда он перешел цепной Аничков мост на Фонтанной и вступил в петербургское предместье – так называемую тогда Аничкову слободу, – всякая охота идти дальше оставила его, шаги замедлились, и он едва поплелся.

«Добро бы еще зима была, – рассуждал он, – ну, тогда, куда ни шло – погреться за компанию можно было бы! А то такой чудный вечер, тут только дышать и дышать воздухом, а не сидеть в душной комнате и пить вино в духоте табачного дыма».

Он живо представил себе внутренность герберга, пьяную компанию, бессмысленно шумные и якобы веселые, но на самом деле отвратительно надоедливые, всегда те же самые «холостые» разговоры, и ему заранее все это стало так мерзко, что он круто повернул направо, сам не зная куда, лишь бы не идти по направлению к гербергу.

Повернув, он ощутил, что с каждым шагом ему становится все лучше и лучше.

Мягкая грунтовая дорога под его ногами не пылила, потому что никто тут не ездил и пыли не подымал. Навстречу никто не попадался, жилья тут почти не было, а тянулись лишь сады, примыкавшие к стоявшим фасадам на Фонтанную барским дачам, а с другой стороны дороги были огороды.

Тут воздух был не похож на городской. Здесь дышалось легко, благодаря открытому месту и зелени садов.

Соболев шел, впивая в себя этот живительный воздух, и мирился теперь с тяжелой, неприятной и – главное – темной петербургской зимой.

Надо отдать справедливость – насколько зима неприглядна в Петербурге, настолько хорош тут весенний месяц май, словно поспешающий истомленных зимними сумерками людей вознаградить светом и теплом, когда солнце вдруг завернет в мае и начнет греть, как на юге, светя почти двадцать часов в сутки. Зелень, жаждавшаяся тепла, словно спешит воспользоваться им и раскидывается такой пышной листвой, что с нею не сравнится ни убранству пальм, ни других южных, обыкновенно пыльных и выгорающих растений.

Кто из русских был на юге, говорит, что хороши там деревья, а все-таки лучше нашей северной кудрявой зеленой березы нет ничего.

Соболев был с этим совершенно согласен, хотя сам на дальнем юге и не бывал никогда.

«Вот только соловья недостает», – подумал он, остановив-

шись у частокола огромного густого сада.

И словно кто подслушал его мысли – над ним запел соловей, запел, защелкал и стал выводить такие трели, слышать которые, как показалось Соболеву, ему не доводилось до сих пор.

Соловей пел, а Соболев стоял и слушал, потеряв счет времени и, пожалуй, твердо не сознавая, где, собственно, он находится – на земле или в каких-либо иных, гораздо более воздушных и, пожалуй, отвлеченных пространствах.

Зеленые ветви, возвышавшиеся над частоколом, были так хороши, воздух был так чист, слух так ласкала песня соловья, что и глазам Соболева захотелось тоже красоты, тоже чего-нибудь необыкновенного, не этого глупого частокола, а того, что было за ним.

А было ли что там?

Любопытство распалилось, и Соболев, присмотрев в частоколе щель, перепрыгнул через канаву, отделявшую дорогу от частокола, и приложил глаз к щели.

III. Загадка

«Фу-ты, ну-ты! – думал Соболев, глядя сквозь щель в чужой сад и слушая не прерывавшуюся песню соловья с ее переливами. – Вот так штука! Такой красоты и ожидать нельзя на земле. Да где же это я в самом деле?!»

То, что увидел он по ту сторону частокола в щель, было поистине что-то волшебное.

Сад, едва покрывшийся листвою, блистал свежее, изумрудного зеленого газона. Сквозь деревья виднелись искусственные развалины как бы древнего замка, отражавшиеся в зеркальных водах пруда, куда бежал ручей из сложенной из гранита скалы, на которой стояла мраморная статуя Аполлона. Правее бил фонтан.

Усыпанные песком дорожки причудливыми извивами ползли вокруг пруда и загадочно терялись в зелени и гротах.

Вдали виднелись мостики, беседки, калитки. Все это имело такой вид, словно было сделано на чудесной декорации, явившейся чудом искусства.

Соболев привык к великолепию голландских садов и английских подстриженных и строгих в своей симметрии парков, но тут он видел в первый раз сад в так называемом французском вкусе и не мог не поразиться его капризной, лишенной всякого ранжира и правильности красотой.

Мягкий свет петербургского майского вечера и соловьи-

ная песнь как нельзя лучше соответствовали волшебной-прекрасной обстановке сада.

Минутами Соболеву казалось, что все это было не на самом деле, а где-то на удивительном театре или, может быть, на картине. Он смотрел, любовался и вместе с тем ждал еще чего-то, веря в это свое безотчетное ожидание и забыв, что, вероятно, его положение прилипшего так к забору человека если и не вовсе подозрительно, то во всяком случае смешно, когда посмотришь сзади, со стороны дороги. Нет, об этом Соболев в ту минуту даже и не думал.

Ждать ему не пришлось долго. Конечно, такой сад не мог быть устроен зря за городом. Он должен был быть сделан для кого-нибудь, и кому-нибудь следовало гулять здесь. Так оно и вышло.

Вдруг на дорожке, – Соболев не мог отдать себе отчет, как это произошло, – показалось облачко шелка, розового, серого, воздушного, кружевного, песок закрипел, и у пруда, как видение, как неземное, нездешнее существо, появилась девушка.

Можно с уверенностью сказать, что если бы она даже не была красива, то при условиях, в которых увидел ее Соболев, она непременно должна была показаться ему небесною красотою.

Но на самом деле девушка была красива, и Соболев смотрел на нее, чувствуя, что дыхание остановилось у него в груди.

«Он увидел ее в первый раз! – подумал он, называя себя в мыслях в третьем лице. – Он влюбился в нее с первого же взгляда», – закончил он свои мысли и вдруг ощутил необыкновенную радость и легкость.

Ему это показалось чрезвычайно остроумно и смешно.

Девушка шла вокруг пруда одна, как бы едва касаясь песка дорожки, с не покрытою ничем головою, так что отчетливо были видны ее густые черные локоны, вившиеся кольцами и составлявшие, по-видимому, особенную ее прелесть.

«Да неужели это – не мечта, – стал сомневаться Соболев, – и я ее вижу такую, как она на самом деле есть, и она существует в действительности, и живет на той же земле, что и я?»

В это время девушка была на ближайшем расстоянии к частоколу и как бы в ответ на сомнения Соболева и словно притянутая магнитом его взгляда, обернулась в его сторону и улыбнулась, очевидно, каким-то своим мыслям, потому что его, Соболева, спрятанного за частоколом, она, конечно, не могла видеть, да если бы и увидела, то не стала бы улыбаться незнакомому человеку.

Но по этой улыбке Соболев увидел почему-то, что девушка все-таки здешняя, «своя», и что она может радоваться жизни, соловью, майскому вечеру так же, как радуется всякий другой человек. И это нисколько не унизило ее в глазах Соболева, а напротив. Он чувствовал, что будь эта девушка только видением и исчезни вдруг пред его глазами, как это

обыкновенно свойственно бесплотным духам, он сошел бы с ума от отчаяния, что она на самом деле не существует.

Но улыбка незнакомки рассеяла все сомнения.

Она прошла, прекрасная и стройная, оставив в сердце Соболева навсегда, как он думал, неизгладимое впечатление.

Долго еще стоял он у частокола, ожидал, не вернется ли красавица, но она не возвратилась, и Соболеву вдруг пришло в голову – не терять больше времени и постараться узнать, кто она такая.

Дело было в том, что он, безусловно, знал в Петербурге всех девиц ее возраста, т. е. на выданье, так как они все бывали на балах, а Соболев не пропустил ни одного из последних и, конечно, заметил бы эту «девушку из сада», если бы она хоть раз показалась среди танцующих.

Да и сама обстановка, в которой она жила, казалась странною – этот загородный сад, чудесно обставленный и устроенный, и она одна в нем. И он так неожиданно странно увидел ее.

Соболеву казалось, что навести нужные справки очень легко: стоит только обойти на берег Фонтанной и там отыскать дом, которому принадлежит этот сад, и спросить, кто тут живет.

Семья, очевидно, не бедная, челяди, значит, много, а где много челяди, там за полтину можно разузнать все, что хочешь, и даже то, чего не хочешь...

И Соболев отправился на разведку, окончательно забыв и

про герберг, и про Митьку Жемчугова.

IV. Дело осложняется

Легко было Соболеву предположить, что, обойдя на берег Фонтанной, он сейчас же узнает, кому принадлежит дом, к которому примыкает сад, и кто живет тут. Но на самом деле оказалось, что это не только трудно, но даже как будто и вовсе невозможно.

Впрочем, дом-то наш Иван Иванович отыскал и, судя по местоположению, это был тот самый дом; но по внешнему своему виду он совершенно не соответствовал роскошно разделанному и великолепно содержащемуся саду.

Дом был, правда, каменный, но имел вид почти полуразвалившегося; окна и двери в нем были заколочены досками; высокий деревянный, почти сплошной забор с забитыми накрепко воротами не позволял видеть, что делалось во дворе; калитка была заперта на крепкий ржавый замок, и ни души человеческой не было заметно тут.

Строение казалось необитаемым, по крайней мере, со времени Петра Великого.

В этом не было ничего удивительного, так как при постройке Петербурга Петром Великим был издан приказ дворянам непременно строиться в Петербурге и по этому приказу была начата постройка домов; однако последние или вовсе не приводились к окончанию, или же, если и достраивались, то стояли необитаемыми, потому что владельцев их можно

было заставить «возвести – как было написано в указе – приличные столице нашей хоромы», но принудить переехать к неведомому морю и жить здесь было невозможно.

Было очевидно, что Соболев имел здесь дело с одним из таких домов, но в таком случае становилось невероятным решение загадки, что же такое этот сад, в котором гуляла неизвестная молодая девушка.

Соболев был из тех неукротимо-настойчивых людей, которых препятствия раззадоривают лишь сильнее и которые не любят отступать пред этими препятствиями.

Конечно, он и не думал отступать, но стал неволью в тупик пред тем, что же ему было дальше делать.

Он попробовал обратиться к соседям, но место было загородное, нелюдное и соседей близких тут не было.

На противоположном городском берегу реки Фонтанной тянулся пустынный лесной двор, так что и там спросить о том, чей это дом, не представлялось возможности.

Пытался Соболев как-нибудь проникнуть во двор дома, но это можно было сделать разве только перепрыгнув через забор, а последний был слишком высок для прыжка через него, и тут не росло ни дерева, на которое можно было бы влезть, не было ни шеста, ни лестницы.

Пробовал Иван Иванович прислушиваться, нет ли кого во дворе, пробовал стучать и в калитку, и в ворота, но все оставалось безмолвно, как будто он хотел проникнуть в мертвое царство.

Так провозился Соболев долго и не заметил, как прошло время. Опомнился он только тогда, когда совсем стемнело; тут лишь вспомнил он, что теперь май месяц, что в мае в Петербурге темнеет очень поздно и что, значит, теперь ночь, когда на мосту через заставу в город уже не пустят.

В то время не только въездные заставы и мосты закрывались в Петербурге на ночь, но и улицы заставлялись рогатками с дежурившими при них часовыми, которые опрашивали запоздавших прохожих, чьи они и куда идут.

Соболев поспешил к мосту и тут должен был убедиться, что действительно застава была уже закрыта.

Положение вышло очень неприятное. Обыкновенно молодые люди опозданием к заставе не стеснялись, а отправлялись тут же в загородный герберг и проводили там ночь до утра; но Соболев был совсем не в таком настроении: о герберге и о пьяной компании он и подумать не мог.

Однако если не герберг, то приходилось провести ночь под открытым небом. Но Соболев совершенно не смутился этим. Он чувствовал такую как бы облегченность от всех условий земного, телесного мира, что даже обрадовался случаю очутиться вне этих условий, то есть в совершенно необычайном для обыкновенного человека положении.

К тому же закрытая застава давала ему возможность вернуться вновь к дому на Фонтанной, а так как ему этого очень хотелось, то он и не замедлил сейчас же вернуться.

Дом стоял по-прежнему угрюмый и пустынный и в насту-

пившей теперь короткой ночной темноте был суров и непригляден.

Соболеву пришло в голову примоститься хорошенько у забора на травке и пробыть здесь до утра, с тем, чтобы посмотреть, не появятся ли хоть рано утром признаки жизни в таинственном доме.

«Ведь если здесь живут люди, – рассуждал он, – то должны же они иметь сношение с внешним миром!»

Это соображение подбодрило его, и он решил остаться до утра на своем посту.

V. Ночные тени

Сколько прошло времени, Соболев хорошенько не знал, но, должно быть, не особенно много, потому что стояли еще потемки, а в Петербурге в мае они непродолжительны.

Соболеву ясно послышался всплеск весел по Фонтанной, настолько определенный, что нельзя было ошибиться, что к берегу подходит лодка.

Это обстоятельство само уже по себе было и странно, и удивительно, потому что ночью нельзя было плавать по Фонтанной. Лодка, значит, пренебрегла запрещением.

Первое, что пришло Соболеву в голову: не лихие ли это люди, и он стал чутко прислушиваться.

Ясно было, что лодка пристала к берегу, послышался даже ворчливый голос. Соболев инстинктивно прижался к забору и прилег на траву с расчетом, что его в полупрозрачных потемках петербургской весенней ночи не будет видно. Сам же он, на фоне более светлой воды в реке, мог видеть, если не подробности, то общее очертание.

И вот он заметил, что от воды поднялись две фигуры, однако, далеко не похожие на лихих людей, какими, по крайней мере, представлял себе этих людей Соболев. Один из них был повыше, другой ростом меньше; на них были шляпы и темные плащи, в которые они были закутаны с головы до ног. Под плащом виднелись шпаги. Очевидно, это были

люди дворянского сословия.

Соболев затаил дыхание в ожидании, что будет дальше.

Фигуры в плащах подошли широкими, уверенными шагами к калитке заколоченного дома, действуя, по-видимому, очень уверенно, точно они были тут свои, привыкшие здесь распоряжаться господом.

Тот, который был повыше, достал из кармана большой ключ; ржавый замок калитки заскрипел, но она отворилась затем без всякого шума. Люди в плащах, нагнувшись, прошли в нее, затем калитка вновь захлопнулась, замок щелкнул, и снова водворилась тишина.

«Нет, други, меня не надуешь!» – подумал Соболев, сообразив, что пусть незнакомцы проникли в необитаемый дом и не забыли запереть за собою калитку, преградив туда всякий дальнейший доступ, но ведь лодка-то, в которой они приехали, тут, и потому хоть что-нибудь можно будет узнать от гребца этой лодки.

Поэтому для Ивана Ивановича было делом одной минуты подбежать к берегу и спуститься к воде. Но, видно, таково уж было предопределение, что всем расчетам Соболева не суждено было осуществляться.

У берега лодки уже не было, а находилась она уже на середине реки, и Соболеву можно было только видеть, и то по неясным в темноте контурам, как она пристала к противоположному берегу и сидевший в ней гребец сложил весла, уселся поудобнее и опустил голову, собираясь, по-видимо-

му, задремать в привычном для себя положении.

Соболев попробовал было крикнуть ему, но решительно никакого ответа не получил.

Тогда Соболев вернулся опять к забору, на свой выжидательный пост.

Если прежде, до появления этих людей в лодке, он терпеливо сидел тут и ждал без всякой определенной цели, то теперь и подавно он желал остаться на этом посту, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Так как лодка не уплыла, а только переправилась к другому берегу, можно было предположить, что приехавшие в дом отбудут назад; ведь в противном случае незачем было бы лодке ждать их.

И в самом деле через некоторое время – впрочем, к этому моменту небо уже осветилось рассветом – замок в калитке щелкнул снова, и опять те же двое в плащах вышли из нее. Более высокий, запирая калитку опять на ключ, проговорил что-то очень тихо своему спутнику, на что тот ясно и довольно громко недовольно произнес по-немецки:

– Aber Donner Wetter!¹

Затем они направились к реке, и там раздался их тройственный посвист.

Лодка поспешно заплескала веслами, подошла на условный, видимо, зов, приняла пассажиров и поплыла по направлению к мосту.

¹ Однако, черт возьми (нем.).

Конечно, все, чему был свидетелем Соболев, оказывалось далеко не достаточным, чтобы разобраться и сделать какие-нибудь выводы, но на первый раз и этого все-таки было достаточно.

Говорят, что сумасшедшие и влюбленные необыкновенно хитры и сметливы в смысле применения к обстоятельствам, а Соболев, если не сошел еще с ума, то, несомненно, был влюблен и необыкновенно быстро взвесил и оценил, как можно было дальше воспользоваться тем, что только что произошло пред его глазами.

Пока что он решил назавтра, в ночь, опять прийти сюда закутанным в темный плащ и, если незнакомцы явятся снова на лодке и пройдут в калитку, спуститься к реке, свистнуть три раза так же, как сделали это они, и когда лодка пойдет на этот зов, вскочить в нее, а там уже заставить лодочника говорить будет пустяки.

Очень довольный этим создавшимся у него планом, Соболев, обдумывая дальнейшие его подробности, просидел, не сомкнув глаз, до утра, и когда наступило время пропуска через заставу, направился в город, не чувствуя, несмотря на бессонную ночь, никакой усталости, бодрый и довольный, совершенно не такой, каким был вчера, когда выходил из города.

Вступив в город, он направился прямо к своему дому, расположенному в одном из прилегавших к Невскому не совсем правильных закоулков.

VI. Митька Жемчугов

Принадлежавший Ивану Ивановичу Соболеву дом был деревянный, но на каменном фундаменте. Его постройка отличалась солидностью и крепостью, но красоты в ней никакой не было.

Это было хорошо приспособленное жилье, одно из тех, какие строили без всяких планов и архитекторов помещики на Руси, в усадьбах, путем векового опыта, делая такие приспособления, что жить было и уютно, и в высшей степени удобно. Такой вот усадебный, со всеми удобствами и службами дом построил отец Ивана Ивановича в Петербурге, переехав для того, чтобы быть замеченным царем Петром и, если можно, выслужиться в большие чины, главным образом своею любовью ко всем заграничным новшествам.

Заграничные новшества отец Ивана Ивановича любил искренне, но большой карьеры у царя Петра не сделал, хотя и был отличен им по заслугам, так что если в вельможи и не попал, то занял порядочное место в петербургской администрации, в одной из коллегий.

Иван Иванович был коренным петербуржцем: он родился, вырос и воспитался в Петербурге.

Когда его отец три года тому назад умер, он остался полным хозяином и петербургского дома, и большого поместья в Тульской губернии, которым управлял через приказчика, то

есть главным образом получал и тратил присылаемые приказчиком доходы и писал ему энергичные, побудительные письма, когда эти доходы запаздывали.

Иван Иванович числился записанным на службу, как это полагалось по установленному Петром Великим правилу, но не служил, потому что строгие петровские обычаи стали уже забываться, и молодые дворяне позволяли себе вольности, предпочитая службе развлечения в театрах, на гуляньях, на балах.

Само общество, кроме представительства, ничего не требовало от них, а Соболев был не лучше, но и не хуже других; вот все, что можно было сказать про него.

Мать Соболева умерла вскоре после его родов, не вынеся петербургского климата и болотных его испарений, и его воспитала француженка, мадемуазель Ла-Пьер, сначала только гувернантка, а потом и хозяйка в доме. Отец Ивана Ивановича был с нею в связи и находился всецело под ее башмаком, однако, жениться на ней не женился и мачехи из нее для сына не сделал. Но это не помешало мадемуазель Ла-Пьер быть все-таки самой настоящей мачехой, зря тиранить мальчика и заставляя насильно являться к ней при посторонних с лицемерною ласкою и благодарностью за якобы расточаемые с ее стороны заботы о нем.

Единственно, чему француженка научила Ивана Ивановича – это говорить отлично по-французски, и за это он был благодарен ей.

Впрочем, сосчитываться с нею ему самостоятельно не пришлось, так как отец незадолго до своей смерти прогнал француженку, приревновав ее не без основания к молодому кучеру.

У Соболевых по Тульской губернии были соседи Жемчуговы, небогатые, мелкопоместные дворяне. Сам Жемчугов был слабенький, приверженный к водке человек, живший, что называется, из рук своей жены, Федосьи Тимофеевны, управлявшей с необыкновенным финансовым гением теми крохами, которые были у них в качестве состояния.

Этих стариков Жемчуговых Иван Иванович совсем и не знал, равно как ему не было известно, что у них есть сын. Но однажды он с какой-то невероятной оказией – чуть ли не с обозом пшеницы – получил письмо, шедшее до Петербурга несколько месяцев.

В этом письме Федосья Тимофеевна без всякого подобострастия и с большим достоинством написала о том, что ее сын Митька должен ехать в Петербург и что она просит Ивана Ивановича принять его к себе. По тону письма эта просьба граничила с уверенным требованием, так как была основана на праве дворянского гостеприимства и на дружбе матери Ивана Ивановича к самой Федосье Тимофеевне.

Митька Жемчугов действительно явился и оказался вовсе не таким неотесанным деревенским оболтусом, как можно было ожидать. Напротив, он держал себя очень уверенно и так, что ясно было, что он не ударит ни пред кем лицом в

грязь.

Оказалось, что Митька подолгу живал в Москве, пообтерся там, был грамотен, достаточно начитан и образован настолько, что трудно было выяснить, чего он не знал, хотя одинаково нельзя было с точностью определить, что, собственно, и знал он. Понимать он как будто понимал все европейские языки, но не говорил ни на одном из них.

Пил он много и крепко, и в этом как будто сказывалась наследственность его отца, хотя слабоволием он не отличался, пил мужественно и даже был характера твердого и решительного, унаследовав его, очевидно, от матери.

Митька приехал к Соболеву и попросту, без всяких церемоний, поселился у него.

Иван Иванович сошелся с ним с первых же дней, полюбил его, и они стали приятелями, так что пребывание Жемчугова в соболевском доме вошло, так сказать, в обиход и естественное и непреложное течение вещей.

Чем, собственно, занимался Митька – решить было трудно, но он куда-то ходил, у него были какие-то отдельные свои знакомства, хотя больше времени он, по-видимому, проводил в пьянстве – по крайней мере, так было видно из его рассказов.

Деньги у него водились, но тратил он их исключительно на себя лично, а, собственно, жил на счет Соболева у него в доме. Впрочем, на чай и на водку он соболевским дворовым не жалел и поставил себя с ними так, что они боялись

его больше, чем Ивана Ивановича, и ухаживали за ним старательнее и лучше, чем за своим хозяином.

Несмотря на то, что Жемчугов жил на счет Соболева, тратя свои деньги исключительно на собственное удовольствие, он держался с Иваном Ивановичем так, точно относился к нему несколько свысока.

VII. Дитя природы

Подходя к своему дому после ночи, проведенной у заключенного дома на Фонтанной, Соболев не был уверен, застанет ли он Митьку дома, или нет. У Митьки часто было обыкновение закатиться в герберг на целую ночь, а иногда и пропасть дня на два и на три. Никогда Митька никаких подробностей об этих своих отлучках не рассказывал и всегда отговаривался, что сильно кутил, и потому перезабыл все.

Соболев по своему обыкновению направился в дом не через парадное крыльцо, а через черное, и на дворе уже увидел, что Жемчугов вернулся: кучер мыл заложенную вчера тройкой бричку.

– Вернулись? – спросил он кучера.

Тот тряхнул как-то особенно головой и с полуусмешечкой ответил:

– Привезли!

«Хорош, значит, был!» – подумал Соболев и почему-то ему стало ужасно весело.

Он легко вбежал по ступенькам в стеклянную галерею, тянущуюся со двора вдоль всего дома, и по знакомой дороге направился было в столовую горницу, на ходу велел старому крепостному Прохору подать туда себе самовар; но в прихожей комнате пред столовой, смежной с помещением Митьки, он наткнулся на растянувшееся на полу тело.

Лежавший вскочил, выхватил висевший у него на поясе кинжал и, оскалив зубы, как-то особенно прорычал:

– Я тебя зарежу.

Соболев невольно вскрикнул больше от неожиданности, чем от испуга, и отступил.

Черномазый человек в длинном одеянии, с барашковой шапкой на голове, оскалив зубы, лез на него и продолжал рычать:

– Я тебя зарежу!

– Да отвяжись ты, дьявол!.. Откуда ты явился сюда? – громко и сердито произнес Соболев и позвал: – Эй! Кто-нибудь!..

Дверь из комнаты Жемчугова отворилась, и Митька просунул голову.

– Ты что тут буянишь, Ахметка? – остановил он черномазого. – Ведь это – сам хозяин дома!.. – показал он на Соболева.

– А это кто ж такой? – спросил Соболев про Ахметку.

Жемчугов, очень недовольный, что его потревожили после «встряски», как он называл свои кутежи, хмуро поглядел на Соболева и сердито ответил:

– Не видишь разве?.. Это – дитя природы!

– Какое дитя природы?

– Плюнь, все равно, потом расскажу, – произнес Митька и затворил дверь, но сейчас же высунулся опять и спросил: – А ты куда пропал ночью?

– Тоже после расскажу! – ответил Соболев и пошел в столовую.

Спать ему вовсе не хотелось; напротив, он чувствовал необычайный подъем жизненности.

Он заварил себе большой стакан сбитня, принялся за пухлую, еще теплую, только что испеченную сдобную булку и стал раздумывать о том, рассказывать ли Жемчугову то, что произошло с ним ныне ночью, или нет. С одной стороны, он чувствовал, что тут, несомненно, нужна помощь приятеля, а с другой – ему хотелось сохранить тайну и – главное – таинственность всего происшедшего, похожего на мечту, чтобы не называть всего этого простыми словами и не развенчивать таким образом своих мечтаний.

Однако не успел он прийти еще к какому-либо определенному решению, как в столовую пришел Митька Жемчугов.

– Нет, не могу, не спится! – сказал он. – Уж раз разбудили, так все пропало!..

Он был в туфлях на босу ногу и в полотняном запашном халате.

Соболев, которого не покидало благодушно-веселое настроение, посмотрел на его заспанную, небритую физиономию и расхохотался.

– Чего ты зубы скалишь? – проговорил Митька и, в свою очередь, рассмеялся, чувствуя, что настроение Соболева передается и ему.

– Откуда же у тебя эта образаина? – стал опять спрашивать

Соболев.

– Нет, ведь я почему держу тебя или себе? – продолжая смеяться, заявил Митька, как будто он действительно «держал при себе» Соболева. – Ведь вот вернешься так домой, кажется, в голове кислота одна, ан, поглядишь на тебя и снова жить захочется!.. Ну, а в новой жизни можно еще шкалик опрокинуть... Эй, Прохор!.. – крикнул он. – Дай-ка, братец, чем-нибудь желудок согреть... простудил я его вчера вечером!..

– Да ведь вчера тепло было! – заметил Соболев, вспоминая с особенным удовольствием этот вчерашний вечер.

– Вот потому-то, что было тепло, мы и пили венгерское со льдом... как тут желудка не простудить? Прохор!..

Но последний в это время нес уже графинчик с полынной настойкой и две рюмки. Одну из них он налил для Жемчугова и, наклонив графинчик над другой, обернулся к Соболеву с вопросом:

– И вам прикажете?

– Нет, мне не надо! – ответил тот, прихлебывая сбитень.

– Ну, так вот! – начал рассказывать Митька, залпом хлопнув рюмку настойки и подставляя ее снова Прохору под графинчик. – Скверная, кажется, произошла вчера со мной история.

– Скверная?.. – вопросительно протянул Соболев. – А именно?

– Да, кажется, придется на дуэли драться... Видишь ли,

как было дело!

И он рассказал, как вчера вечером в герберге, после того как всей компанией, в которой он находился, было выпито изрядное количество венгерского, появилась компания немцев-военных и стала тоже пить. Немцы допились до того, что начали приставать к очень мирно и скромно сидевшему в уголке тому самому Ахметке, который только что выказал свою свирепость Соболеву. Немцы очень ловко кидали в него хлебными шариками. Ахметка сначала думал, что это – мухи, и отмахивался, но когда догадался, в чем дело, полез драться, выхватил кинжал и прорычал: «Я тебя зарежу!» Немцы, словно этого только и нужно было им, как будто даже обрадовались, что раздражили азиата, и с гиком накинулись на него, желая избить. Очевидно, подобные избиения входили у них в программу удовольствия. Их было четверо, и таких рослых, что Ахметка сейчас же сообразил, что ему с ними не справиться, втянул голову в плечи и попытался было дать тягу; но они схватили его, и несдобровать бы Ахметке, если бы не вступился за него Жемчугов со своей компанией. Против них немцы идти не решились, отпустили Ахметку, и один из них, по-видимому, старший, обратился к Жемчугову с вопросом, дворянин он или нет. Тот назвал ему себя, и немец отрекомендовался тоже: «Барон Цапф фон Цапфгаузен». Затем он расспросил, где можно найти Жемчугова, и сказал, что даст ему о себе знать. С бароном пока этим дело и кончилось, но Ахметка, как истинное дитя природы, за ока-

занную ему помощь почувствовал непреодолимое сердечное влечение к Жемчугову и не хотел от него отойти, прежде чем не узнает, что он может сделать для него в благодарность и кого нужно зарезать для него.

VIII. Барон дает о себе знать

Весь этот рассказ Митьки Жемчугова о происшедшей вчера с ним пьяной истории до того был противоположен настроению, в котором находился Соболев, что он сейчас же решил ни о чем не рассказывать.

– Ну, а теперь говори, отчего ты надул меня – не явился в герберг – и отчего дома не спал ночь? – спросил его Митька.

Соболев, твердо решивший ничего не рассказывать, не успел придумать какое-нибудь другое объяснение и постарался ответить уклончиво:

– Так!.. Я был в одном месте.

– Понимаю!.. – подхватил Жемчугов. – Интрижка, значит! Ну, если ты ради интрижки не явился вчера в герберг, тогда это еще можно простить... А что она? Хорошенькая?..

Иван Иванович на этот вопрос только нахмурился и ничего не ответил.

«Ишь, должно быть, и в самом деле забрало!..» – подумал Митька и решил не настаивать в дальнейших вопросах, а выждать, пока Соболев сам не расскажет. С ним это была самая лучшая манера.

– А не пойти ли все-таки поспать? – заключил Жемчугов, вставая и потягиваясь.

– Да ты разве мало спал? – спросил Соболев. – Ты разве не с вечера вернулся?

– Да нет же, засиделись вчера в этом герберге!..

– Послушай, да как же ты миновал заставу и ночные ро-
гатки на улицах?..

Тут Митька как будто смутился и ответил привычной уже своей отговоркой:

– А почему я знаю? Пьян был... ничего не помню!.. При-
везли как-то...

Это было довольно странно, но Соболев, в свою очередь, не расспрашивал, потому что сам только что отделался до-
вольно необстоятельной отговоркой.

– Ну, пойдем спать! – согласился он.

Они оба поднялись, чтобы разойтись по своим комнатам, но в это время бледный и взволнованный Прохор вбежал в комнату и шепотом произнес, весь дрожа:

– К нам «слово и дело»...

В то время этот возглас был особенно страшен, потому что по так называемому «слову и делу» хватали и влекли в Тайную канцелярию всякого, не считаясь с его общественным положением. Достаточно было на улице закричать на кого-нибудь «слово и дело», чтобы подвергнуть его аресту.

Конечно, тех, кто зря кричал «слово и дело», подвергали наказанию, но оно было сравнительно ничтожно и – главное – не могло искупить те неприятности, которые претерпевали арестованные по пустому наговору.

Дело обыкновенно усложнялось, когда по «слову и делу» являлись чин Тайной канцелярии с военной силой к ко-

му-нибудь на дом для обыска.

– Что за вздор! – спокойно сказал Митька. – На кого еще тут «слово и дело»?

В это время Ахметка просунул в дверь свою мохнатую рожу и убежденно спросил:

– Кого нужно резать?

Соболев не мог дать себе еще отчет в том, что случилось, и при виде этого дитяти природы не мог удержаться, чтобы не расхохотаться.

– Что же тут делать?.. Неужели пропадать нам? – захныкал Прохор.

– Как что? – сказал им Жемчугов. – Надо впустить чинов канцелярии!..

– А я нарочно двери запер, – проговорил Прохор и чуть слышно добавил: – Может, у вас есть что... дайте, я спрячу...

– У тебя ничего нет подозрительного? – вдруг серьезно обернулся Жемчугов к Ивану Ивановичу.

Тот отрицательно покачал головой и ответил:

– Ничего!

– Наверное?

– Наверное.

– Ну, тогда пойдем, примем незваных гостей, – с какой-то странной усмешкой проговорил Жемчугов и пошел сам отворять запертые Прохором наружные двери, в которые слышался уже неистовый стук снаружи.

Дом Соболева был оцеплен рейтерами, и явившийся чи-

новник Тайной канцелярии с офицером вошел с привычною ему в таких случаях бесцеремонностью.

– Здравствуйте, добро пожаловать! – встретил его даже весело Митька. – Вы, собственно, к кому пожаловали?.. Ко мне или к хозяину дома сего Ивану Ивановичу Соболеву?..

– «Слово и дело» заявлено на Дмитрия Яковлевича Жемчугова, – сказал чиновник.

– Так это я сам и есть! – заявил Митька. – Так вот пусть господин офицер пока побудет с хозяином, а мы, – обратился он к чиновнику, – пойдем ко мне в горницу и там вы произведете обыск.

И как ни было странно, что, по-видимому, с места начал распоряжаться тут сам Жемчугов, а не чиновник всесильной Тайной канцелярии, но этот чиновник оставил офицера с Соболевым, а сам пошел с Митькой в его комнату.

Иван Иванович очутился в чрезвычайно глупом положении, оставшись вдвоем с незнакомым ему офицером. По счастью, на столе стоял графин с полынной настойкой, которою ублагодворялся Митька и от которой не отказался офицер, несмотря на раннее время.

– Служба у нас уж такая! – почему-то произнес он, как бы себе в оправдание, хотя решительно было непонятно, почему его служба обязывала пить полынную настойку с самого раннего утра.

Офицер оказался неразговорчив, и Соболев был очень рад, когда сравнительно в очень скором времени чиновник

вышел от Жемчугова и кликнул с собой офицера. Тот выпил последнюю рюмку на прощанье и последовал за чиновником, которого Жемчугов проводил до самых дверей.

И моментально все стало по-прежнему: рейтары были сняты со своих постов вокруг Соболевского дома и ушли, чиновник с офицером уехал, а Митька сказал Соболеву:

– Ты знаешь, что все это значит?..

– Ну? – переспросил тот.

– Это значит, что барон Цапф фон Цапфгаузен дал мне знать о себе.

– Разве это был его секундант? – наивно спросил Соболев.

– Я сам ждал от него секунданта, ан, оказалось, что барон Цапф фон Цапфгаузен вместо того, чтобы развестись со мной поединком, предпочел сделать на меня донос в Тайную канцелярию, будто я вчера в герберге поносил ее величество непристойными словами и задел площадною бранью высокую особу герцога Бирона!..

– Но ведь этого не было? – спросил Иван Иванович.

– Да, этого не было, и барон Цапф фон Цапфгаузен солгал, думая, по-видимому, что мне трудно будет вырваться из лап Тайной канцелярии.

– Но он ошибся в расчетах.

– Да, брат, не так страшен черт, как его малюют!..

Соболеву показалось вполне естественным, что Жемчугова не тронули, раз за ним не оказалось ничего дурного, потому что он был слишком далек от распорядков тогдашней

Тайной канцелярии. Но те, кому были известны эти распоряжки, должны были удивиться всему происшедшему, как чему-то из ряда вон выходящему. В том, что с Жемчуговым обошлись так легко после сделанного на него доноса и даже не произвели у него обыска, крылась несомненная тайна, разгадать которую было трудно.

IX. Князь Шагалов

Митьке с Соболевым, видно, не суждено было в этот день успокоиться. Едва освободились они от незваных гостей из Тайной канцелярии и хотели было опять отправиться каждый к себе, как к окну с улицы подъехал верхом молодой офицер и постучал в него.

– Митька! Это – князь Шагалов! – сказал Соболев, поднимая окно. – Князь, заходите к нам, мы оба тут.

– В нетрезвом состоянии!.. – перехватил Митька, стараясь придать себе разгульную развязность. – Идем, князь! Мы тут полынной настойкой себе живот согреваем!

– Ну, против соболевской полынной не устоять! – проговорил князь, знавший, что полынную настойку Соболеву присылали из деревни и что такой ароматной, как его, не было во всем Петербурге.

Он повернул лошадь и поехал во двор, а Митька поспешно шепнул Соболеву:

– Не говори ты ничего и никому, что у нас были из Тайной канцелярии, да и вообще говори обо мне, что я пьян всегда, и только... На этом, брат, никогда не ошибешься.

– Здравствуйте, господа, – проговорил, входя, князь Шагалов. – Я рад, что застал тебя, – обратился он к Митьке, – мне надо с тобой, пожалуй, даже и посоветоваться...

– Ну, что еще?.. Опять натворил что-нибудь? – спросил

Жемчугов.

– Да ничего особенного! Видишь ли, вчера раздурачились мы очень – так как-то вожжа под хвост попала... Собралось у меня несколько человек новое цимлянское пробовать!.. Только пришло кому-то в голову взять длинную веревку и пойти под окнами на улицу делать измерения этой веревкой!..

– Это на Невской-то перспективе? – спросил Соболев.

– Ну, да! Ведь я там живу! – подтвердил князь. – Под самыми деревьями аллеи... Стали мы делать измерения, ну, разумеется, собралась толпа, глазают, что такое. Тогда я взял зрительную трубу, ну, и с полною серьезностью навел ее на небо. Зрители из толпы, конечно, тоже стали глядеть туда, ну, а в это время остальные наши, схватив веревку за концы, потянули ее по земле под ноги толпе... Ну, забавно вышло – крик... шум... падают... Это привело всех в особенно хорошее настроение, и мы продолжали цимляниться, как вдруг приезжает ко мне адъютант немец и смеет мне делать официальный выговор, зачем я вчера в театре у немцев со словарем был!..

– Как со словарем? – удивился Соболев.

– Да так: взял огромный словарь, и как на сцене немецкий актер слово скажет, я, ну, отыскивать в словаре – «вертербух», что это слово значит. Ну, конечно, листы шуршат, немцы недовольны, зачем я мешаю слушать. В антракте ко мне подходит сам полицеймейстер, спрашивает, кто я такой.

Я сказал ему, а он говорит адъютанту: «Запиши!» Тогда я спрашиваю его, а кто он такой. Он говорит: «Полицеймейстер», а я говорю Володьке Синицыну – он рядом со мной сидел: «Володька, запиши – полицеймейстер!» Ну, так вот по этому поводу приезжает ко мне адъютант, понимаешь ли ты, братец ты мой, с выговором. «Ну, постой же!» – думаю. Встретили мы его очень почтительно, выслушал я выговор, а затем мы стали накачивать немца!

– Ну, и накачали? – спросил Митька.

– Накачали.

– Вот это так! – одобрил Соболев.

– Накачали мы немца, вымазали ему седло столярным клеем, усадили верхом и отправили!.. Говорят, вышла потеха: по дороге к казармам адъютант к седлу приклеился, и его пришлось вынимать из рейтуз при всем честном народе!.. Сколько хохота было!.. Понимаете, ведь расседлать лошадь нельзя, иначе он, пьяный, с седлом полетит, а отодрать рейтузы от седла тоже невозможно. И вот его, голубчика, надо было распоясать, сапоги снять, да так из рейтуз и вынуть!..

Соболев с Митькой расхохотались, представив себе фигуру адъютанта в таком поистине странном положении.

– Ну, что ж, верно дуэль будет? – сказал Жемчугов. – Адъютантом-то кто у вас?

– Барон Цапф фон Цапфгаузен...

– А-а... он!.. – воскликнул Митька. – Ну, этот-то драться на дуэли не будет!

– Не будет? – переспросил князь. – Почему не будет?..

– Потому что у него, должно быть, нервы слабы очень!

– А ты разве знаешь его?

– Знаю! – коротко сказал Жемчугов.

– Так ты думаешь, он обратит все дело в шутку?

– Ну, что он сделает – не знаю, а только мстить он тебе будет – это наверное!..

– Ну, этого я не боюсь!.. – махнул рукой князь Шагалов. – Ведь на меня все немцы в Петербурге злятся, я, кажется, каждому из них досадил... Так одним больше, одним меньше... я думаю, если бы немцы только могли, так меня давно живьем съели бы...

– И зачем вы это делаете? – раздумчиво произнес Соболев.

– Терпеть не могу немцев; хотя сам не знаю, почему! Уж очень они сильно насели на нас сверху.

– А разве наши, русские, лучше? – спросил Соболев.

– Да не знаю... Впрочем, я ведь ничего... я так только... ведь подурачиться... Уж очень с немцами оно смешно выходит.

Несколько секунд приятели помолчали.

– А что, у этого барона Цапфа есть какие-нибудь связи? – спросил вдруг Митька.

– То есть с кем, собственно?

– Да хотя бы со двором герцога?!

– Вероятно!.. Ведь они, немцы, все друга друга тянут.

– Нет, так – нет ли какой-нибудь особенно близкой связи?

– Это можно узнать.

– Узнай ты мне, пожалуйста, мне это очень нужно.

– А что, сегодня играют в оперном доме?.. Надо бы пойти туда...

– В самом деле. Я пойду покупать билет! – проговорил Жемчугов. – Может, и тебе взять? – спросил он у Соболева.

– Нет, я не могу! – ответил тот. – У меня вечер сегодня занят!..

– Хе-хе... – протянул Митька, – может, не только вечер, но и ночь опять!.. У него интрижка завелась! – пояснил он князю.

– Нет, брат, ты это брось! – вдруг вспыхнув, серьезно произнес Соболев. – А то я про твою интрижку, – подчеркнул он, – стану рассказывать!..

Митька пристально посмотрел на него, как бы отметив себе что-то, и перевел речь на театральное представление. Они стали говорить про оперный дом.

Х. Ночное приключение

Днем Соболев выспался, затем сходил в баню, плотно пообедал и сел читать книгу в ожидании вечера.

Митька исчез из дома в то время, как Иван Иванович еще спал, и не пришел к обеду. Это бывало с ним часто, и потому беспокоиться не имелось никаких оснований.

Чем ближе подходило время к вечеру, тем длиннее тянулось оно для Соболева. Книгу он взял так только, чтобы иметь какое-нибудь занятие, но никак не мог сосредоточиться на ней и то поглядывал на часы, то поднимал окно и старался предугадать по небу, хороша ли будет погода и не пойдет ли дождь. Последний для него был бы серьезной помехой, и, кажется, ни один хозяин в сенокос не боялся так дождя, как боялся его сегодня Соболев. Но жаркий день был таков, как и накануне, и вечер наступил такой же светлый и прекрасный, как и вчера.

Соболев отыскал в своем гардеробе совсем такой плащ, какой ему было нужно, то есть очень похожий на плащи, в которые были закутаны вчерашние незнакомцы. На всякий случай он заострил шпагу, взял свою длинную трость и отправился по знакомой уже дороге к частоколу сада.

Он простоял тут до того, пока стемнело, но на этот раз никого не увидел в саду, хотя последний блистал так, как вчера, своей роскошью, и, как вчера, пел соловей.

Скрепя сердце, Соболеву пришлось перейти на берег Фонтанной и заняться там более определенными наблюдениями.

Тут надо было ждать. Ожидание казалось томительным, но зато оно увенчалось успехом, и приблизительно в то же, как и вчера, время опять незнакомцы подплыли в лодке, вышли из нее, подошли к калитке, опять щелкнул замок, они вошли и заперли за собой калитку.

Соболев выждал немного и, сам хорошенько не сознавая, что делает, с какой-то как бы особенно наглядной безрассудностью, но твердым шагом, направился к реке.

Лодка уже была на той стороне и причаливала к пустынному берегу лесного двора.

Соболев свистнул три раза, совершенно так же, как делали это вчера два незнакомца в плащах.

Он нарочно сегодня целый день практиковался в этом по-свисте.

Человек в лодке востепенулся, схватился за весла, поднял их, но приостановился, как будто ему пришло в голову, что он ослышался.

Соболев просвистел еще раз. Тогда гребец ударил веслами, и лодка быстро поплыла к тому месту, где стоял Иван Иванович.

Когда она подошла к берегу, он одним прыжком вскочил в нее, оттолкнулся и сказал гребцу по-немецки:

– Вперед!..

Положение было слишком необычайно. Сидевший в лодке гребец был, очевидно, вполне далек от мысли, что в этом месте и в это время может явиться еще кто-нибудь, кроме тех, кого он только что привез сюда в таком же точно, как и они, плаще. Он повиновался и стал грести, видимо, привыкнув слушать приказанья и умея исполнять их, не рассуждая.

Хотя в течение всего этого дня Соболев все время думал о своем ночном предприятии, но делал это как-то слишком мечтательно, так что не выработал заранее никакого определенного плана действий. Он хотел только вскочить в лодку и очутиться с гребцом, чтобы заставить его говорить. Но ему не пришло в голову обдумать, как это надо было сделать, и теперь, когда его мечты увенчались успехом, то есть когда он вскочил в лодку и сидел пред таинственным гребцом, он почувствовал, что его положение необычайно глупо и что он не знает, что ему делать и как начать расспросы.

У него был заготовлен на всякий случай кошелек с деньгами, и в своих мечтах он смутно представлял, что, очутившись в лодке, обнажит шпагу, кинет кошелек и предложит гребцу выбор: или взять деньги и рассказать все, что он знает, или быть убитому... Но, сидя в лодке на низенькой скамейке с высоко поднятыми коленами, вынуть из ножен шпагу было неловко, да и управляться с нею, сидя, казалось нелепым.

Однако что-нибудь надо было делать.

Соболев ограничился тем, что вынул кошелек, бросил его

гребцу и сказал:

– Вы можете взять себе этот кошелек и должны за это рассказать мне, кому принадлежит эта лодка и кто в ней и откуда ездит в заколоченный дом!.. Если вы не сделаете этого, то я выну свою шпагу и убью вас...

Вся эта длинная рацея именно вследствие своей длинноты была сама по себе слишком мало страшна как угроза, да и произнес ее Соболев не совсем решительно. Но вышло совсем уж несуразно и неловко, когда гребец спросил по-немецки: «Что вы говорите?» – и, разинув рот, уставился на Соболева, сообразив, очевидно, что пред ним сидит чужой человек.

Соболев перевел свои слова на немецкий язык, но так как он плохо владел этим языком, то его перевод вышел не только совсем не угрожающим, но даже просто смешным.

– О, да! – сказал гребец. – Я вам, конечно, все сейчас расскажу и совсем без ваших денег, так только, из одного удовольствия приятной беседы с вами!.. Дайте мне только разогнать хорошенько лодку, а то, когда работаешь веслами, разговаривать трудно.

Соболев тут только увидел, что этот сидевший на веслах немец был не простой гребец, а человек совсем иного сорта, которого кошелек с деньгами, пожалуй, мог и обидеть.

«Однако, кажется, я впутался в глупую историю! – подумал Соболев, начиная уже жалеть о своей неосмотрительности. – И зачем я это все затеял?»

Немец ходко заработал веслами и, работая, повторил еще несколько раз:

– О, да! Я расскажу вам все...

Еще несколько ударов весел – и они стали приближаться к мосту, на котором были застава и караул.

– Вот вы сейчас все узнаете, – сказал немец, поворачивая лодку к берегу.

«Что это он хочет делать?» – стал соображать Соболев, но прежде чем он мог хорошенько опомниться, лодка уже пристала к берегу, сидевший на веслах немец быстро выхватил спрятанный у него за поясом пистолет и выстрелил в воздух.

С моста бросились к ним несколько солдат. Соболев был схвачен и отведен в караулку. Там немец предъявил какую-то бумагу, и Соболев слышал, как этот немец приказал именем герцога Бирона отвести его, Соболева, немедленно в Тайную канцелярию.

Ивана Ивановича взяли под караул, отобрали от него шпагу и повели без дальних разговоров.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – недоумевал Соболев.

Он-то воображал, что гребцу нечего будет делать иного, как выбирать между кошельком и острием шпаги, ан, вышло совершенно не так!..

Впрочем, такова уже жизнь человеческая, что в ней всегда случается как раз наоборот тому, на что рассчитывают и надеются люди.

XI. В тайной канцелярии

Соболева ввели в ту самую Тайную канцелярию, при одном упоминании о которой приходили в ужас не только простые обыватели того времени, но и лица высокопоставленные и имевшие доступ даже к самой государыне.

О Тайной канцелярии ходило множество рассказов, и об ужасах, творившихся там, передавали с опаской; но все-таки передавали, что там пощады не дают никому. Там истязали, мучили людей, вытягивали на дыбе, жгли огнем и драли плетьюми...

Соболев, шагая теперь ночью среди солдат, чувствовал себя совсем не в своей тарелке. Он был зол на себя за то, что сделал глупость и повел себя необдуманно, однако, отчаянию не предавался. Ему сейчас же пришло в голову, что если Митька так счастливо сегодня утром отделался от Тайной канцелярии, то, вероятно, и ему посчастливится как-нибудь отбояриться, убедив, что в его поступке никакого злого умысла не было, а все это он-де проделал ради одной лишь шутки.

Его привели в канцелярию и ввели в большую низкую комнату с кирпичным полом, освещенную тусклым фонарем с огарком сальной свечи.

В канцелярии, несмотря на ночь, не спали и ходили какие-то люди. Они о чем-то переговаривались, обращались к

караульному, и Соболев слышал несколько раз повторенные разными голосами слова: «По приказанию самого герцога!»

Прошло немного времени – и его ввели в следующую комнату. Она была тоже большая, с кирпичным полом. Здесь тоже сальная свечка тускло освещала ясеневое дерево стол с бумагами, чернильницей с торчавшими в ней гусиными перьями и сидевших за столом двух человек.

Один из них, лет пятидесяти, с тщательно выбритым подбородком, в военном сюртуке и в немецком парике, нюхал табак из золотой табакерки; другой был гораздо моложе, и в нем Соболев узнал того самого человека, который сегодня утром приходил к нему в дом по доносу барона Цапфа на Митьку Жемчугова.

Узнав этого чиновника, Соболев очень обрадовался, как бы сразу уверившись, что теперь пойдет все отлично, и на вопрос старшего о том, кто он такой, назвал себя и добавил, показав на чиновника:

– Меня знает вот этот господин... Он сегодня был у меня в доме!

Но чиновник со своей стороны решительно никакого сочувствия Соболеву не выказал, а, напротив, довольно сурово и поспешно проговорил:

– Вы, сударь, совершенно ошибаетесь, и я вас совершенно не знаю!

– Но меня знает очень хорошо Дмитрий Яковлевич Жемчугов, который может засвидетельствовать обо мне, – сказал

Соболев. – Потом знает еще князь Шагалов и многие другие...

– Об этом вас пока не спрашивают, – перебил его старший. – Отвечайте только на вопросы! Расскажите, как было дело и за что вас арестовали...

– За что меня арестовали, я не знаю, а дело было так! – ответил Соболев и чистосердечно и правдиво рассказал, что вчера, возвращаясь из-за города, он опоздал на заставу, через которую его не пропустили; не желая проводить ночь где-нибудь в герберге или на постоялом дворе, он пошел гулять и тут увидел двух незнакомцев с их лодкой и то, как они входили в заколоченный и, по-видимому, необитаемый дом.

– Где этот дом? – спросил старший.

Соболев указал самым подробным образом местоположение дома и затем продолжал рассказ вплоть до того, как его арестовали по приказу таинственного гребца.

Он думал, что его затем сейчас же и отпустят, но вышло совершенно не так. Его отвели через двор в каменный каземат, вонючий и грязный, с решетчатым окном и с кучей грязной соломы в углу на полу.

«Ну, что ж делать! – рассудил Соболев. – Так, так, так!.. Пусть будет, что будет!»

И он лег на солому.

Когда Ивана Ивановича увели из комнаты, где его допрашивали, и чиновник со своим старшим остались наедине, то этот старший обратился к своему подчиненному и, втягивая

в нос понюшку табака из золотой табакерки, проговорил:

– Так его светлость герцог изволят ночью в лодке ездить в заколоченный дом?.. А мы и не знали этого!

– Я знал об этом, ваше превосходительство! – ответил чиновник. – То есть мне было дано знать от одного из наших наблюдающих при дворе герцога, что его светлость ночью изволят выезжать в лодке... Мною был сделан наряд для того, чтобы проследить эти отлучки...

– Как же вы можете учреждать наблюдения за его светлостью? – усмехнулся старший и прищурился.

– В интересах самого герцога, ваше превосходительство, для охраны от лихих людей! – ответил младший и тоже усмехнулся.

– Да разве что так!.. А кто был в наряде?

– Жемчугов.

– Митька?

– Он самый.

– Неужели он не дознался?.. Ведь он, кажется, самый способный?..

– Ему помешал вчера барон Цапф фон Цапфгаузен, который привязался к нему в пьяном виде.

– Да ведь этот барон сделал на Жемчугова донос.

– Самому герцогу, ваше превосходительство. Надо, конечно, Митьку выручить, потому что донос вздорный и облыжный.

– Ну, разумеется! Вы заготовьте к завтра доклад.

– Я послал сейчас за Жемчуговым.

– Для какой надобности?

– Ведь он живет в доме у Соболева, которого вы только что изволили допрашивать. Они – приятели.

– А что мы будем делать с этим Соболевым?

– Что, ваше превосходительство, прикажете, но, во всяком случае, нельзя нам забывать, что мы через этого Соболева получили весьма важное сведение о ночных поездках герцога в закованный дом.

– Да, я подумаю, как поступить.

– А пока Соболева держать у нас?

– Пожалуй, придется. Ведь герцог о нем, наверное, сам спросит.

– Мне кажется, ваше превосходительство, что этот Соболев не все говорит, что знает?!

– Что ж, вы хотите расспросить его поостроже?

– Строгость всегда можно употребить, но пока можно будет удовольствоваться разговором с ним Митьки Жемчугова.

– Ну, хорошо, поступайте, как знаете! Это дело я пока поручаю вам, а теперь я пойду.

– Слушаю, ваше превосходительство! – заключил подчиненный и проводил начальника до дверей.

ХII. Подноготная

Эти двое людей, допрашивавшие Соболева, были, судя по молве, самые страшные из всех деятелей XVIII века на Руси.

Старший был сам начальник Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков, выслужившийся без всякой протекции и связей до высоких чинов.

Он был сыном бедного дворянина Новгородской губернии, рано осиротел, отличался страшной физической силой и высоким ростом. В 1700 году, в бытность Петра Великого в Новгороде, молодой Ушаков, в числе прочих недорослей из дворян, был представлен царю, и тот записал его в Преображенский полк. Здесь Андрей Иванович быстро обратил на себя внимание своею службою и через семь лет был уже капитаном. Императрица Екатерина I произвела его в генерал-поручики. Императрица Анна пожаловала ему звание сенатора и генерал-аншефа.

Младший, его подчиненный, был тоже известный Степан Иванович Шешковский, тогда еще лишь начинавший свою карьеру, но впоследствии бывший сам начальником Тайной канцелярии при императрице Екатерине II.

Проводив начальника, Шешковский вернулся к столу, не торопясь разложил бумагу, попробовал на ногте перо, обмакнул его в чернильницу и принялся писать.

Дверь отворилась, и в комнату без доклада, как свой че-

ловек, вошел Митька Жемчугов.

– Что еще? Зачем я понадобился? – спросил он, протягивая руку Шешковскому. – Экстренное дело какое-нибудь?

– Есть и экстренное дело! – ответил Шешковский, продолжая писать. – Садись, сейчас кончу, расскажу.

Жемчугов сел, но ему не терпелось.

– Ты о бароне Цапфе с начальником говорил? – спросил он.

– Говорил.

– С самим генералом?

– С самим.

– Надо, чтобы этому Цапфу нагорело.

– Нагорит! – проговорил Шешковский, продолжая писать.

– Так в чем же дело? – спросил его Митька, когда он кончил наконец свою бумагу.

– Дело вот в чем. Попался твой Иван Иванович Соболев.

– Да что ты говоришь?

– Арестован по приказу герцога.

– За что?

– За то, что исполнил возложенное на тебя поручение.

– Как так?

– Да так!.. Пока ты вчера пьянствовал...

– Постой! – перебил Митька, задетый за живое. – Ты знаешь, я никогда не пьянствую, а только делаю вид и слышу пьяницей, и все для того лишь, чтобы лучше скрывать то, что делаю!.. Бесшабашного пьяницу Митьку трудно заподозрить

в чем-нибудь... Ну, и вчера сборный пункт у нас был назначен в герберге. Оттуда я хотел разослать на посты своих для наблюдения по Фонтанной, а с частью их думал отправиться в лодке сам по реке, под видом как бы катания гулящей компании, и для этого, то есть для того, чтобы правдоподобнее было, сказал Соболеву, чтобы и он явился в герберг. Ну, а тут вышла история с этим бароном...

– Да чего ты сцепился с ним?

– Да нельзя, братец! Он хорошего человека обижал – Ахметку-татарина... Ну, просто прелесть какой человек, этот Ахметка!..

– Но послушай, у тебя ведь было серьезное дело?..

– Так ведь в нем же никакого спеха не было... я знал, что оно не уйдет, так как герцог каждую ночь катается...

– Знаешь, Митька, везет тебе!.. Все дела, за которые ты только брался, как-то удавались тебе помимо тебя самого! Что для других было бы непростительным промахом, глядишь, у тебя выходит великолепно!.. Постой-ка!.. Да уж не ты ли это направил своего Соболева на всю эту махинацию и через него таким образом сделал наблюдение?.. – произнес Шешковский, вдруг как бы спохватившись и проникновенно глядя на Митьку.

Но тот не пожелал слукавить и выдать простую случайность за результат своей сообразительности.

– Нет, – сказал он, – на этот раз просто повезло! Я Соболева ни на что не направлял.

– Вот я и говорю, что тебе всегда везет... Счастливая рука у тебя!.. За это и Андрей Иванович тебя любит... Сегодня с ним насчет барона совсем и разговаривать не пришлось! Он так-таки сам и сказал, что будет докладывать об этом деле герцогу завтра же...

– А с Соболевым как же произошло все? Шешковский прочел показание Ивана Ивановича, только что записанное.

– Тут не все мне ясно! – произнес Жемчугов. – Видишь ли: что он мог делать за городом, пред тем как опоздал на заставу, если он не пришел к нам в герберг, хотя туда направился из дома вечером... Это надо выяснить.

– Генерал предлагал даже спросить со строгостью.

– Ну, зачем со строгостью? Мы и лаской с ним покончим.

– А он не осведомлен о том, что ты имеешь отношение к Тайной канцелярии?

– И не подозревает ни о чем!

– Так как же ты с ним переговоришь?

– Да очень просто: пройду сейчас к нему...

– А под каким предлогом?

– Ну, не знаю, не все ли равно?.. Скажу, что так это здесь полагается, чтобы приходили свидетели для опознания, что ли, его личности... А не то вот что: вели запереть меня вместе с ним, я скажу ему, что меня тоже арестовали из-за него...

– Ну, хорошо, так и сделаем. Только, понимаешь, тут нужно знать всю подноготную.

ХІІІ. Так и сделали

Соболев спал, растянувшись на соломе, так как был неприхотлив; он спал так крепко, что и не слышал, как в его камеру вошел и был заперт Митька Жемчугов, когда же последний стал будить его, то он долго не мог очнуться и, протирая глаза, спрашивал Митьку:

– А-а!.. Ты уже вернулся?..

– Да проснись ты!.. – будил его Жемчугов. – Пойми, что мы в каземате Тайной канцелярии.

В решетчатое окно светили уже предрассветные сумерки, и в каземате было настолько светло, что можно было все разглядеть.

– А?.. Да!.. – очнулся наконец Соболев. – Постой!.. А как ты сюда попал?..

– Меня, брат, тоже заперли.

– Заперли?

– Ну, да!.. Утром отделаться удалось, а сейчас, когда тебя захватили, забрали и меня.

– И посадили нас вместе?

– А это, видишь ли, – шепотом стал говорить Митька, – у них такая сноровка, чтобы тех, кто вместе арестован, сажать в один каземат; тогда, думают здесь, арестованные наверное будут разговаривать о деле, а тут их и подслушивают, и таким образом узнают все. Понимаешь?..

– Но ведь нам-то с тобой, – воскликнул Соболев, – скрывать решительно нечего; ведь мы же ничего дурного не сделали! Так мы можем говорить громко!

– Ну, хорошо. Но только скажи, пожалуйста, как же это ты пошел на такое дело и один-одинешенек! Хоть бы со мной посоветовался!..

– Да какое же это дело?.. Ведь это так, пустяки!..

– А, впрочем, и о пустяках можно было поговорить со мной... мы ведь, кажется, никогда исключительно умными делами с тобой не занимались?

– Ну, видишь ли, я думаю, что нас завтра отпустят!..

– Ну, это едва ли!..

– Отчего же едва ли?

– Да оттого, что тут замешан сам герцог...

– А ты почему знаешь?

– Да мне сказали, что меня арестуют, как и тебя арестовали, по приказу самого герцога...

– Да, вот это я понять не могу!.. – простодушно проговорил Соболев и рассказал затем все, что с ним произошло, точь-в-точь так же, как уже знал обо всем этом Жемчугов из прочитанного ему Шешковским показания.

Это убедило Митьку в том, что Соболев в своем показании ничего не солгал.

– Но позволь, – сказал он, – что же ты делал за городом вплоть до того, как закрыли заставу?.. Где ты шлялся и почему не попал в герберг?

– Да, видишь ли, я, собственно, в герберг и пошел...

– Ну?..

Соболев замаялся. Ему не хотелось рассказывать все. Ему жаль было так же, как было жаль сегодня утром, расстаться со своей тайной, и ему казалось, что как только он откроет эту свою тайну даже Митьке Жемчугову, своему другу и приятелю, так точно что-то отыметя от него.

– Послушай! – заговорил опять Митька. – Ты пойми – тут дело серьезное, и мне надо знать все подробности!.. Ведь если замешался сам герцог...

– Я вот не понимаю, при чем тут герцог? – живо перебил Соболев, ухватившись сейчас же за возможность отклонить разговор в сторону.

– Мы это сейчас выясним. Ты говоришь, на веслах сидел немец?

– Ни слова не понимавший по-русски.

– То есть желавший говорить с тобой только по-немецки?

– Ну, да!

– Ну, это еще ничего не значит... он мог говорить и понимать на всех языках и все-таки отвечать только по-немецки. Он сильно картавил?

– Да.

– Ты у него на правой руке, на указательном пальце, не заметил железного кольца?

– Да, именно, он, когда греб, держал так руки, и я видел у него железное кольцо, черное. Я еще внимательно пригля-

делся, желая определить, что у него на пальце.

– Ну, так и есть, это был он!

– Кто?

– Да сам герцог.

– Этот картавый с кольцом?

– Нет, один из тех, которые вошли в дом; вероятно, тот, кто был поменьше ростом, потому что если на веслах сидел немец картавый и с железным кольцом на пальце, то, кроме герцога, никого в лодке не могло быть.

– Но зачем же герцогу ездить ночью в этот таинственный дом?

– А это – не нашего ума дело. Мы и то, кажется, с тобой слишком много знаем.

– Но, видишь ли, для меня это очень важно!

– Что для тебя важно?

– А вот зачем герцог ездит...

– Да тебе-то не все ли равно?

– Нет, мне не все равно! – ответил Соболев и опять замолчал.

Ужасная мысль пришла ему в голову. Ему вдруг как бы стало все понятно: и зачем тот дом был заколочен, и почему ржавый ключ защелкивал замок в калитке, и зачем приезды герцога в этот дом были обставлены такой таинственностью. Но неужели это могло быть на самом деле? Ведь если его светлость герцог Бирон приезжал ради красавицы, гулявшей в этом чудном саду, то, конечно, он должен был скрывать

свои посещения и являться сюда только ночью, с особенными предосторожностями, а самый дом, где была скрыта красавица, обставить так, чтобы и в голову никому не пришло, что тут живут.

Но сама красавица... Неужели со своим младенчески-прекрасным и чистым лицом, со своей ангельскою красотою она могла принимать у себя отвратительного, чуть ли не в отцы ей годившегося герцога?

Но кто же она, откуда взялась и как и где мог герцог Бирон обольстить и присвоить себе это нездешнее по своей красоте, неземное существо?

Но иначе не могло быть.

Соболеву стало ясно все, и он в отчаянии поник головою.

– Что с тобой? – спросил Митька, испугавшийся не на шутку – такая бледность покрыла лицо его приятеля и такое выражение горя отразилось на нем.

– Нет, Митька, я не переживу этого! – вырвалось наконец у Соболева, и слезы потекли у него по щекам, и он заплакал жалостно, навзрыд, как плачут маленькие дети.

– Да что с тобой? – повторил Жемчугов. – Какая, право, муха укусила тебя?

– Нет, Митька, не муха, – продолжал всхлипывать Соболев, – а, представь себе, этот герцог, этот злодей... он... ах, сказать тебе не могу!.. Он ездит по ночам в этот дом для свиданий...

– Для свиданий? С кем?... – удивленно спросил Митька.

– Ах, если бы ты знал, как она хороша, как прекрасна и молода!.. Понимаешь, кажется, когда смотришь на нее, то забываешь, что ты тут, на земле, а не где-нибудь в другом, лучшем мире... И вдруг к ней... ездит на свидания по ночам герцог Бирон!.. Нет, это пережить невозможно...

XIV. Кому горе, кому удача!

Митька иронически усмехнулся и спросил:

– Да ты почему знаешь об этом? Ты разве видел ее?

– Видел... – ответил Соболев.

– И влюбился?

– В нее нельзя не влюбиться!.. Стоит лишь увидеть...

– Да не может быть!

– Клянусь тебе.

– Но где же ты мог ее видеть?

– Да ведь я из-за этого и опоздал на заставу.

– А-а! Ты из-за этого опоздал на заставу!

И мало-помалу Митька своими вопросами заставил Соболева рассказать подробно, как он случайно заглянул в щель частокола, как увидел сад и как, наконец, показалась в этом саду та, которой он не забудет уже всю жизнь и которую «отнял у него» герцог Бирон.

– Понимаешь, видал я девушек и женщин до сих пор, – рассказывал Иван Иванович, – но все они – ничто перед нею...

– Так, брат, все всегда думают, – усмехнулся Жемчугов.

– Нет, Митька, я – не «все»!.. Уверяю тебя: такой, как она, другой нет и не может быть на свете.

– И это все говорят... тоже...

– Ну, мне все равно... теперь я знаю, что все погибло для

меня, а там пусть говорят, что хотят... Ты знаешь, я теперь рад, что попал в Тайную канцелярию и что мы сидим теперь в каземате.

– Ну, ты за себя говори, а меня оставь! Я хочу выбраться как можно скорее.

– А мне все равно... теперь для меня все кончено... не жить мне больше!..

– Отчего же не жить?

– Пусть делают со мной, что хотят!.. Пусть взводят, какие хотят, обвинения – я оправдываться не буду... Все кончено...

– Ну, погоди еще!.. Может быть, тебе так только показалось, а на самом деле оно и не так вовсе... Ты мог ошибиться домом.

– О, нет!.. Сад принадлежит именно к забытому дому, куда входил герцог...

– Ну, что ж, и это ничего... все-таки тебе это не помешает познакомиться с твоей красавицей.

– Но это невозможно!

– Для истинной любви ничего невозможного нет.

– Ты думаешь?

– Истинная любовь творит чудеса.

– И ты думаешь, что мне удастся пробраться к ней?

– Отчего же нет?

– Но герцог!

– Что герцог?

– Ведь все-таки она принадлежит ему.

– Если это и так, то, как ни грустно, все-таки тут ничего нет такого ужасного!.. Ведь она не знает о твоей любви, ни даже о твоём существовании.

– А ты можешь себе представить, что она когда-нибудь узнает?

– Отчего же нет? Говорю тебе...

– Ну, тогда я хочу жить!..

– Вот то-то и оно!..

– Ты мне обещаешь помогать?

– Обещаю.

– Благодарю тебя! Ты знаешь, мы были до сих пор друзьями, но теперь ты мне такой друг, такой друг!.. Я просто тебе сказать не могу, какой ты мне друг... Но только вот что, Митька милый: дай ты мне одно обещание, одно обещание – крепкое свое слово, что ты не станешь рассказывать о моей любви – понимаешь? – никому, что это останется тайной между нами до гроба!..

– Постой! Почему же тайной?

– Так... чтобы никто не знал...

– Ни даже та, которую ты любишь?

– Тсс... и не говори об этом, и не смей!

Дверь в это время отворилась, и грубый голос крикнул:

– Дмитрий Жемчугов, к допросу!

Митьку вывели из каземата или – вернее – сделали только вид, что вывели, а на самом деле это была лишь комедия для

него.

Его встретил в дежурной комнате Шешковский, который был дежурным сегодня в канцелярии на ночь и которому надоело сидеть одному. Поэтому он послал за Жемчуговым в каземат под предлогом допроса. Впрочем, тут играло также роль и нетерпение Шешковского узнать поскорее подробности дела.

– Ну, что, разузнал? – спросил он как только вошел Жемчугов.

– Все до ниточки, – ответил тот и передал все подробности, рассказанные Соболевым.

Шешковский весело потер руки от удовольствия и воскликнул:

– Ведь если все это подтвердится, то его светлость герцог Бирон в наших руках.

– Надо только Соболева высвободить. Понимаешь, он со своей влюбленностью, золотой человек, будет в наших руках, – сказал Митька.

– Да, он будет полезен, – согласился и Шешковский.

– Ну, еще бы!.. Так вот надо, чтобы Андрей Иванович постарался о нем завтра же.

Шешковский подмигнул Жемчугову и успокоительно произнес:

– Постараемся!

XV. Герцог Бирон

Эрнст Иоганн Бирон, избранный, по настоянию императрицы Анны Иоанновны, в 1737 году герцогом Курляндским после смерти герцога Фердинанда, не оставившего потомства, возвысился не в силу каких-либо своих дарований или талантов, а ввиду невероятного счастья, которое выпало на его долю в жизни.

Он решительно не имел никаких нравственных качеств для того, чтобы стоять во главе правления над Россией. От природы он был труслив, мстителен и обладал менее, пожалуй, чем средним умом. Одно у него было исключительным, а именно: он цепко и ревниво умел обставить личные свои интересы и с необыкновенной последовательностью приносить в жертву этим личным интересам все, что было только в его власти. А так как в его власти была целая Россия, то она должна была вся служить господину всесильному герцогу.

В истории России случалось, что, словно ей в наказание, возвышались и получали огромную власть люди мелкие, трусливые и шумные, делавшие все возможное для самовозвышения и употреблявшие на это всю силу своей огромной власти, но падавшие затем с высоты, на которую они взбирались не по праву, как с сокрушенной ударом молнии башни.

Герцог Эрнст Иоганн Бирон, возвеличенный волею императрицы Анны Иоанновны, «управлял» Россией в качестве

председателя рабски послушного ему кабинета министров.

Его управление было жестоко, и эта жестокость проявлялась особенно тогда, когда дело касалось личности самого Бирона. Все русское не только поносилось невозбранно, но даже такое поношение поощрялось. За поругание православной веры не взыскивалось и даже оскорбление величества только тогда каралось, когда оно связано было с какой-нибудь выходкой против герцога. Что же касалось – не говоря уже об оскорблении самого герцога, – малейшего неблагоприятного отзыва о нем, то за такое деяние мучили беспощадно и подвергали разорению, заточению, а то и смертной казни. Ни положение, ни заслуги пред отечеством не могли защитить людей, навлекших на себя неудовольствие временщика.

Этот временщик, Эрнст Иоганн Бирон, зазнавался до того, что «трактовал» от имени России с иностранными государствами, принимал иноземных гостей, с которыми разговаривал его брат, как бы уполномоченный от властелина российской империи, каковым почитал себя Бирон.

Он учредил особый «доимочный приказ» и безжалостно выколачивал недоимки, обращая их не в государственную казну, а в секретный фонд. Имевшиеся в его распоряжении секретные деньги Бирон тратил исключительно на то, чтобы упрочивать свое положение, свою личную власть, и покупал на эти деньги льстивые похвалы себе, в особенности, у людей, которые были возле государыни.

Эти его клеветы, купленные на казенные деньги, конечно, связывали собственное свое благополучие с благополучием всесильного герцога и старались служить ему, доходя до лакейской угодливости.

У герцога Бирона был свой двор, и попасть к этому двору или просто быть хотя бы приняту там, считалось, если не более почетным, то гораздо более интересным, чем побывать в большом дворце императрицы Анны Иоанновны.

Забываясь исключительно только о себе и о своем благополучии, Бирон смотрел на каждое государственное дело только с точки зрения того, какую пользу это дело может принести ему лично.

Его дочь носила походя бриллиантовые браслеты в несколько тысяч ценою, сам он горстями швырял золотые, когда это приходило ему в голову, жаловал на галере гребцам, когда катался, вдвое против того, что давала сама государыня, и носился со своей персоной, заботясь о ее удобствах более, чем о нуждах российского государства.

Императрица Анна Иоанновна, окруженная клеветами Бирона, думала, что в России все обстоит благополучно, и не желала передать власть в другие руки, боясь, что будет хуже. Это боязнь чего-то неопределенного, худшего со стороны Анны Иоанновны укрепляла положение Бирона, пожалуй, еще прочнее, чем неизменное личное расположение государыни к временщику.

Носясь со своей персоной, Бирон капризно выбирал се-

бе квартиру, каждый раз роскошно отделявая ее себе на казенный счет. В конце концов он поселился в малом летнем дворце Петра Великого, в Летнем саду.

Этот дворец был не особенно обширен, но вместителен, и главное его преимущество для герцога состояло в том, что он находился возле большого дворца, построенного Анной Иоанновной в Летнем же саду, со стороны Невы, для себя.

В этом месте, т. е. где теперь стоит решетка Летнего сада с часовней, при Екатерине Первой были построены для торжеств по случаю бракосочетания великой княжны Анны Петровны с герцогом Голштинским большая деревянная галерея и зал с четырьмя комнатами по сторонам. Зал имел одиннадцать окон по фасаду, вдоль набережной Невы. В 1731 году императрица Анна велела сломать этот зал и на его месте выстроить новый дворец. Он был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывшие тогда редкостью².

Таким образом, Бирон, поселившись в малом дворце Петра Великого в Летнем саду, находился по соседству с императрицей и жил с нею как бы в усадьбе, отделенной от остального Петербурга Невой, рекой Фонтанной и огромным Летним садом и Царицыным лугом, покрытым тогда кустарниками, прудами, фонтанами и дорожками.

Здесь Бирон чувствовал себя как бы в большей безопас-

² М. Пыляев. «Старый Петербург».

ности и отсюда мог как бы свободнее отдавать свои беспощадные приказания.

А эти приказания были беспощадны, потому что Бирон с самой пугливой подозрительностью и раздражительным самолюбием соединял неумолимую месть. Не было ничего легче, как навлечь его подозрение или оскорбить это его самолюбие нескромным словом. Ни один житель Петербурга того времени, да и не только Петербурга, не мог быть уверен, что с ним случится завтра, и вставший утром со своей постели человек не мог сказать с уверенностью, не придется ли ему ночевать в каземате на соломе.

XVI. Доклад

Начальник Тайной канцелярии, генерал-аншеф и сенатор Андрей Иванович Ушаков, явился к герцогу с докладом в определенный утренний час, оставив свою карету у ворот Летнего сада и пройдя через него пешком.

Стоявшие у входа во дворец Бирона рейтары отдали по воинскому артикулу генерал-аншефу честь, а гайдуки, толкавшиеся в прихожей с герцогскими скороходами, встретили Ушакова как своего, с глубоким поклоном, тем более, что среди них было трое, служащих в Тайной канцелярии.

Ушаков поднялся по лестнице в приемную, заглянул туда и, увидев, что она полна жаждавшими приема у герцога чиновными лицами, прошел в маленькую, знакомую ему, смежную с площадкой лестницы комнатку. Он не любил тереться на людях в приемной без толку, время у него было рассчитано, и он знал, что герцог примет его, не заставив ждать, а там, в приемной, сидели лица, которые приезжали туда целые месяцы подряд каждый день с тем только, чтобы иметь честь постоять в приемной Бирона и не быть принятыми.

В маленькую комнату к Ушакову вошел немец, не старый на вид, но и не молодой, хорошего роста и сильный по фигуре, с железным кольцом на указательном пальце правой руки.

– Добрый день, господин генерал! – проговорил он по-немецки, сильно картавя.

– Скажите, – спросил Ушаков, – это вы были, Иоганн, вчера с герцогом в лодке ночью и отправили ко мне в канцелярию какого-то человека?..

Немец нахмурил брови и ответил опять по-немецки:

– Генерал должен знать, что не имеет права меня ни о чем спрашивать, а я не имею права ничего отвечать ему.

– Но я спрашиваю для пользы герцога!

– Герцог сам сейчас будет говорить с генералом и скажет все, что нужно для пользы его светлости.

Этот короткий обмен русско-немецких фраз и не особенно дружелюбный тон их ясно показал, что между генералом Ушаковым и тем, кого он называл так просто «Иоганном», существовала, несомненно, подавленная вражда.

Из кабинета герцога раздался звонок, и Иоганн, приотворив маленькую, заделанную под обивку стены дверь, сказал Ушакову:

– Пожалуйста.

Андрей Иванович, не робея и не выказывая никакой особенной торопливости, вошел в кабинет.

Бирон сидел у окна, за письменным столом. На нем были сафьяновые туфли, чулки, короткие плисовые брюки, белая рубашка с раскрытым воротом, лиловый шелковый халат на белой подкладке и высокий французский парик.

– Здравствуйте, генерал, – любезно встретил он Ушако-

ва. – Ну, кажется, у нас хорошая погода?

– По-видимому, да, ваша светлость! – улыбнулся Андрей Иванович с таким видом, будто относит эти слова не к солнечному дню, а к настроению самого Бирона.

– У вас много дел, генерал?

– О, нет! Самые пустяки! – ответил Ушаков тем тоном и теми словами, которыми всегда отвечали, отвечают и будут отвечать опытные докладчики, когда у них именно предстоит серьезный разговор с тем, кому они докладывают.

– Ну, тем лучше, если пустяки! – весело сказал Бирон.

– Сегодня ночью, по приказанию вашей светлости, был доставлен некоторый человек. Что прикажете с ним делать?

– А как его зовут?..

– Точный допрос и расследование еще не произведены... Кажется, захваченный на первом же допросе без пристрастия назвал себя как-то, но этому веру дать нельзя!

– А он давал какие-нибудь показания?

– Настолько сбивчивые, что понять ничего нельзя, так что даже нельзя было выяснить, при каких обстоятельствах он был взят.

Ушаков уже знал, что выяснение этих обстоятельств едва ли будет приятно Бирону, которому навряд ли захочется, чтобы начальник канцелярии, хотя бы и Тайной, знал, что он куда-то ездит ночью.

Уловка Андрея Ивановича, тем-то и державшегося, что он никогда не делал ни одной неловкости, произвела отличное

впечатление на Бирона, и последний, совсем повеселев, снова спросил:

– Так вам даже не известно, при каких условиях он был взят?

– Насколько я мог судить, ваша светлость, Иоганн катался по Фонтанной на лодке, к нему пристал этот человек, они повздорили, и Иоганн именем вашей светлости отдал приказ арестовать этого человека.

– Да, вот именно так это и было! – подтвердил Бирон.

– И вашей светлости угодно подтвердить распоряжение Иоганна?

– О, да, я подтверждаю!

– Слушаю-с. Конечно, я не смею рассуждать о том, сколь опасно такое полномочие распоряжаться именем вашей светлости...

Бирон прищурился и усмехнулся.

– Ну, да, я знаю – господин генерал не любит моего Иоганна! – сказал он по-немецки.

– Я имею в виду только пользу службы и вашей светлости, – сказал как бы даже строго Ушаков. – Так прикажете допросить арестованного?

– Ну, что там допросить!.. Он болтает всякий вздор... просто немедленно надо без всяких разговоров кончить с ним и чтобы его не было!..

Это было сказано так определенно, что Ушакову и возразить было нельзя. Да это и было бы ни к чему, так как Андрей

Иванович знал по опыту, что Бирон в таких случаях непреклонен, да и несомненно было, что тут герцогу требовалось хоронить концы в воду.

Участь Соболева была решена.

XVII. Струг навыверт

– Что еще у вас? – спросил герцог.

Андрей Иванович спокойно вынул свою золотую табакерку, понюхал табаку и ответил:

– Еще, ваша светлость, я хотел доложить о бароне Цапфе фон Цапфгаузене...

– Да, генерал... что такое было на днях об этом бароне?.. Он служит адъютантом в полку у моего брата Густава?

– Так точно, ваша светлость!

– И брат Густав, кажется, отзывался о нем хорошо?

– Я не рекомендовал бы вашей светлости этого человека.

– Отчего?.. Брат Густав очень хорошо отзывался о нем!

– Его превосходительство, генерал-аншеф слишком добр! – сказал Ушаков про Густава Бирона, который был награжден чином генерал-аншефа за отличие во время турецкой кампании, в Стоучанском сражении, открывшем Миниху ворота Хотина.

– Но брат Густав очень точен по службе и никогда не говорит напрасно! – возразил опять Бирон.

– Может быть, в службе? – вздохнул Ушаков. – Барон Цапф фон Цапфгаузен – безукоризненный офицер, но поведения и мнений он самых предосудительных...

– Даже предосудительных?..

– Насколько можно судить по его отзывам относительно

вашей светлости.

– Что такое? – протянул Бирон, уже хмурясь.

Переходы от хорошего расположения духа к раздражительности были у него очень легки и часты, зато наоборот, от более обычной для его характера раздражительности он с большим трудом переходил опять в благодушное настроение.

Обыкновенно, когда на герцога находило это благодушное настроение, его старались поддерживать его приближенные, но Андрей Иванович Ушаков не был из тех, которые поступали так. Он, очевидно, не боялся раздражать герцога, когда это было нужно ему, начальнику Тайной канцелярии.

– Вчера вечером барон произносил в обществе двух человек и одной дамы хульные речи, отчасти на ее величество государыню императрицу и главным образом на вашу светлость.

Бирон сжал губы, что служило у него признаком готовящейся вспышки гнева.

Ушаков только этого и ждал.

– По какому поводу? – спросил герцог.

– Да по поводу того, что род баронов Цапфов фон Цапфгаузенов – древний немецкий род и известен своею храбростью.

– Ну, а Бироны?..

– А Бироны, по мнению барона Цапфа фон Цапфгаузена, получают чины только милостию императрицы, как подачки

поварята на царской кухне.

– Он так и сказал это? – воскликнул Бирон.

– Так и сказал, ваша светлость, и привел в пример братьев вашей светлости, Густава и Карла.

Родовитость была самым больным местом для Эрнста Иоганна Бирона, дед которого был простым конюхом. Сам немец по происхождению, герцог покровительствовал немцам и при русском дворе как своим единоплеменникам, но это не мешало ему в душе питать самую непримиримую ненависть к родовитым дворянским немецким семьям из зависти, что он не мог принадлежать к ним. Для герцога Бирона не было большего оскорбления, как если кто-нибудь из представителей этих семей отзывался пренебрежительно о нем или о его братьях.

– Но это – неправда! – воскликнул он. – Ведь мой брат Густав заслужил свой чин на поле сражения, где отличился... Скажите вашему барону Цапфу, что он – мальчишка, не нюхавший пороха, а мой брат Густав...

– Но он особенно настаивал, ваша светлость, на генерале Карле...

– Брат Карл! – почти уже закричал Бирон. – Но мой брат Карл был уже при императоре Петре на службе в офицерском чине и личной храбростью выделился в глазах начальства! Он был на войне против шведов, служил в польских войсках и сам заслужил себе чин подполковника. В тридцать четвертом году он был при осаде Данцига, в тридцать пятом

был в корпусе, посланном на Рейн с фельдмаршалом Ласси, в тридцать шестом – в армии графа Миниха участвовал в крымском походе, командовал там отрядом, занял Евпаторию, а на обратном пути армии в Россию начальствовал ее аррьергардом³ и так далее, и так далее... Брат Карл – смелый воин, всю жизнь сражавшийся за Россию, а барон Цапф...

– Он только кутил по гербергам пока... – подсказал Андрей Иванович.

– А-а, он кутил по гербергам!.. Хорошо!.. Я покажу ему, как пьянствовать и говорить всякий вздор! Я сам поговорю о нем с Густавом!..

– Значит, веру словам такого человека давать нельзя?

– Какого человека?

– Барона Цапфа фон Цапфгаузена.

– Да кто же может поверить этому лгуну?

– Я в таком смысле и заготовил доклад, – и Ушаков почтительно подал четко и с вывертом переписанную бумагу Бирону.

Тот взял перо и написал: «Утверждаю. Бирон».

– Еще что? – спросил герцог тоном, не обещавшим ничего хорошего.

– Больше ничего, ваша светлость! – поспешил проговорить Ушаков, по опыту зная, что надо было кончать как можно скорее разговор и доклад с герцогом Бироном, когда тот приходил в такое раздраженное состояние, как теперь.

³ Все это исторически верно.

– Можете идти! – коротко проговорил Бирон. Ушаков встал, раскланялся и вышел из комнаты. Пропустивший его мимо себя на площадке лестницы Иоганн, который в продолжение всего доклада стоял в маленькой комнате, прилепившись ухом к двери кабинета, злобно поглядел вслед Андрею Ивановичу и как бы сказал сам себе:

«Он погубил барона Цапфа, чтобы выгородить своего!»

А Андрей Иванович Ушаков, как ни в чем не бывало, спустился с лестницы, как всегда невозмутимо спокойный, и в прихожей, когда ему один из гайдуков подавал плащ и шляпу, пробормотал не совсем внятно:

– Струг навыверт.

Что значило это слово или вообще значило ли оно что-нибудь – из всех находившихся в прихожей мог понять только один, одетый скороходом. Как только Ушаков пробормотал это слово, этот одетый скороходом поспешно вышел, все же остальные приняли просто, что старик-генерал так себе сболтнул, сам не зная что.

XVIII. Женщина

Замечание Иоганна было совершенно правильно. Ушаков, выгородив своего, погубил барона Цапфа фон Цапфгаузена, но при этом не произнес ни единого слова лжи и весь его доклад про барона был правдив и основывался на вполне точных и проверенных донесениях.

Позавчера был для барона неудачный день, потому что его приклеили к седлу, а потом, когда он хотел разгулять эту неприятность в загородном герберге, там произошла неприятная история с Жемчуговым. Вчера же не повезло ему еще более, и его слишком развязавшийся язык был для него, как оказалось, губительным.

Как это вышло, барон даже себе не мог отдать хорошенько отчета. Он действительно наговорил глупостей, в которых раскаялся впоследствии.

Вчера утром он получил приглашительную записку от пани Марии Ставрошевской.

Эта пани Мария Ставрошевская была какой угодно нации, только не полька. Тип у нее был южный, говорила она хорошо только на русском языке, с московским выговором, а по-польски объяснялась плохо, но кроме того еще могла понимать и кое-как поддерживать даже разговор по-французски, по-немецки, по-английски, по-венгерски, а может быть, и еще на каких-нибудь языках.

Свою фамилию она носила по мужу, которого никто не знал и который жил, как она говорила, в Польше.

Пани Мария поселилась в Петербурге с год тому назад и якобы ждала со дня на день приезда мужа из Польши, но он не приезжал, и она жила одна, заводила знакомства, выезжала, бывала на балах, в театрах, на маскарадах и отличалась тем, что у нее долгих и определенных сношений ни с кем никогда не было. Постоянно у нее встречались все новые и новые знакомые. С одной стороны, это было странно, но с другой – такое непостоянство в отношениях было выгодно для ее репутации одинокой женщины, так как молва и сплетни не могли приплести ей никакой легкомысленной связи или увлечения.

Ставрошевская жила довольно богато, имела слуг – правда, не крепостных, а вольнонаемных, – экипажи и хорошего повара; у нее всегда подавалось отличное вино, она умела угостить и знала толк в хороших вещах.

Жила она в лучшей части Невского, в домике-особняке, с хорошим при нем садом, где была у забора на улицу сделана вышка, так что можно было, сидя на ней, смотреть на улицу, как с балкона. На эту вышку в теплые весенние вечера выносили стол и стулья, подавали бокалы, вино со льдом, и приглашенные пани Ставрошевской проводили здесь очень мило время.

Ставрошевская, казалось, была без лет. Несмотря на свой определенно южный тип, женщины которого стареют обык-

новенно рано, она не старела, но и молода не была ни в каком случае. Однако не было мужчины, знавшего ее, который не то чтобы был влюблен в нее или увлекался ею, а не стал бы с нею с первой минуты знакомства в отношения некоторой короткости, позволявшей ему воображать, что между ними существует нечто особенное и что он выделен ею из ряда других мужчин...

Барон Цапф фон Цапфгаузен был в числе прочих, хотя познакомился с пани Ставрошевской всего две недели тому назад.

Получив записку, он отправился на приглашение и застал общество сидящим на вышке у забора за вином.

– А вот и барон! – встретила его пани. – Скажите, барон, какая сегодня погода?

Она проговорила это так, будто между ними было что-то условное в этом, в сущности, нелепом вопросе, потому что она сама, сидя на воздухе, могла видеть, что погода была хороша.

Но барон сделал вид, что понимает суть и таинственность ее слов, хотя на самом деле не понимал ничего, и ответил тоже многозначительно:

– Погода бывает изменчива.

– Вот именно, вот именно! – подхватила Ставрошевская и переглянулась с сидевшим с нею рядом чрезвычайно изящным и породистым барином, точно и между ними было «нечто».

Барон стал пить вино, которое усердно подливала ему любезная хозяйка, и, желая развернуться вовсю, стал шутить, чтобы показать главным образом свою развязность.

Его шутки заключались в том, что он перевирал русские слова, как будто путая значение. Он спрашивал, можно ли, например, сказать про небо, что оно «тучное», когда оно покрыто тучами, и отчего про ниву говорят, что она «тучная», хотя туч на ней нет?..

Смеялась его островам одна пани Ставрошевская; барон этим был совершенно доволен и изощрялся дальше, приставая с вопросом, можно ли назвать платье «носатым», когда оно хорошо носится?..

В самый разгар непринужденной веселости барона Цапфа фон Цапфгаузена по Невскому, мимо компании, сидевшей на вышке сада пани Ставрошевской, проехала кавалькада из нескольких человек, впереди которой ехал Митька Жемчугов.

Барон сейчас же узнал своего обидчика и даже остановился на полуслове с разинутым ртом. Он так был уверен, что Жемчугов по его слову генералу Густаву Бирону, в полку которого он служил, засажен теперь накрепко, что, когда увидел Митьку преспокойно катающимся верхом по Невскому, ничего понять не мог: как же это так – сам генерал обещал ему, что уберет этого русского, а тут – на-поди! – все это оказалось пустыми словами, и с его обидчиком церемонятся и не могут засадить какого-то Жемчугова, когда этого требует

его, барона, достоинство.

У Цапфа фон Цапфгаузена всегда особенно ощущались родовая гордость и кичливость своим происхождением, когда действовало на него вино, а сегодня он выпил уже достаточно и в голове у него немного шумело.

Он был оскорблен, как это генерал Густав Бирон, его начальник, не исполнил своего слова, и начал выставлять благородство своего рода. Сравнение с темным происхождением Биронов явилось само собою, и, попав на этот предмет разговора, барон покатился дальше, как по наклонной плоскости.

Ставрошевская не останавливалась, и барон, расходясь все больше и больше, дошел до того, что свободно заговорил о герцоге Бироне, а затем и о самой государыне.

На вышке за вином, слушая разглагольствования Цапфа фон Цапфгаузена, сидели долго, а когда разошлись, Ставрошевская быстро прошла к себе в дом, отворила запертое на ключ бюро и быстро написала на золотообрезной бумажке одно слово: «Струг навыверт», и сложила ее, запечатала, надписала на адресе: «Степану Ивановичу Шешковскому» и, позвонив лакея, сказала ему:

– Отнести немедленно!

На другой день рано утром у Шешковского было два донесения о речах, произнесенных громогласно бароном Цапфом фон Цапфгаузенем, адъютантом полка его превосходительства генерала Густава Бирона: одно от сидевшего под за-

бором, где была вышка, нищего, а другое – от одного из гостей пани Ставрошевской. Оба донесения были вполне тождественны, а потому и составляли доказательство «совершенное», т. е. неопровержимое.

XIX. Резолюция

Жемчугов условился с Шешковским, что придет к нему, когда он вернется от начальника, т. е. Андрея Ивановича Ушакова, после доклада того у герцога Бирона.

Нельзя сказать, чтобы Митька чувствовал себя вполне спокойным. Тревожило и собственное дело по доносу на него барона Цапфа, окончательное решение которого все-таки зависело от самого Бирона; но главную и серьезную тревогу ощущал он в отношении запертого в каземате Тайной канцелярии Соболева.

Вчера ночью ему под влиянием успокоительных заверений Шешковского казалось, что положение Соболева не так уж опасно, но сейчас, когда он пораздумал и обсудил более спокойно, он волей-неволей пришел к заключению, что освободить Соболева не только трудно, а, пожалуй, и вовсе невозможно. По крайней мере, он не мог себе представить такое стечение обстоятельств, при котором можно было, хотя бы и создав их искусственно, выволить несчастного молодого человека. Бирон, очевидно, сам заинтересован равным образом тем, чтобы стереть с лица земли Соболева как слишком назойливого и непрошеного свидетеля его ночных походов.

Жемчугов не мог дожидаться назначенного часа, отправился к Шешковскому ранее и, к крайнему своему удивлению,

застал его уже дома.

– Ты что же это? Уже вернулся от начальника? – спросил Жемчугов, входя запыхавшись.

– Доклад был недолгий, – ответил Шешковский. – Только о бароне!

– Ну, и что же?

– Велено ни одному слову его не верить, так что его разговор на тебя недействителен, а самому ему достанется за дурацкие речи... Словом, с бароном кончено!

– Ну, а Соболев?

– С Соболевым велено покончить...

– Совсем?

– Совсем.

– Я так и думал! – проговорил, бледнея, Жемчугов. – Да иначе и быть не могло!.. Значит, все кончено?..

– Ну да, кончено!..

Митька как был, так и сел на первый попавшийся стул.

– Жаль беднягу! – сказал он.

– Да постой! Ты, собственно, чего?

– Как чего?.. Ведь если приказано покончить с Соболевым, так, значит, для него все пропало, а уж помимо того, что он был бы нужен сейчас для дела, у меня и приязнь к нему, как к приятелю.

– Ну, – протянул Шешковский, – полагаю, особенных неприятностей ему все-таки от нас не будет!

– Ты думаешь?

Шешковский кивнул утвердительно головой.

– Но как же это может быть? – стал спрашивать Жемчугов. – Я как ни ломал головы, ничего придумать не мог... А что же можно сделать теперь, когда резолюция о нем поставлена?

– Исполнить резолюцию в точности!

– Ничего не понимаю!

– А это, видно, оттого, что ты себе голову ломал, и она у тебя, очевидно, сломана. А дело очень просто: ведь имени твоего Соболева нигде пока в бумагах у нас нет.

– В бумагах нет?

– Ну, да! Ведь вчера записано только одно его показание, а записывал его я, и вместо «Соболев» везде написал, как бы по ошибке, «Зоборев»!.. Счастье его, что его никто не видал, кроме картавого Иоганна! Ну, а Иоганн близорук.

– Я все-таки ничего не понимаю! Ну, хорошо! Тут как-нибудь Соболева можно освободить, если вместо него обвиняется Зоборев. Но ведь Зоборева-то этого все-таки надо найти, для того чтобы исполнить резолюцию?

– Велика штука!.. Да первый же подлежащий смертной казни негодяй с подходящей фамилией – не Зоборев, так Зубарев или что-нибудь в этом роде – примет на себя эту вину, если ему пообещают вместо смерти ссылку.

– Да, вот оно как! Знаешь, это гениально придумано.

– Надо только, чтобы сам Соболев не болтал.

– Тут есть один риск.

– Какой?

– Если он попадется как-нибудь на глаза Иоганну, тот, как ни близорук, все-таки может узнать его.

– Для этого твоему приятелю лучше было бы уехать.

– Ну, уехать он не согласится.

– Его согласия нечего спрашивать! Кажется, у нас достаточно возможности, чтобы заставить его делать то, что мы хотим.

– Но ведь если он уедет, то мы лишимся одного из главных помощников в этом деле, на которого мы можем рассчитывать. Его сумасшедшая влюбленность, из-за которой он ни за что не оставит Петербурга, может оказать нам серьезные услуги.

– С тобой нынче говорить нельзя! Ну, конечно, Соболев должен уехать только для вида, а его переодетым надо поселить в какой-нибудь лачуге возле заколоченного дома, чтобы он наблюдал за этим домом. Полагаю, он выполнит это с отличным усердием?

– О, да, это он выполнит. Только весь вопрос: как переодеть его и под видом кого поселить возле дома?

– Ну, уж это будет твое дело! Ты распорядись, как знаешь.

– Ну, а как же из каземата? Разве его так просто можно будет выпустить?

– Из каземата надо будет ему бежать... Это опять уж твое будет дело!

– Ну, что ж, это дело не сложное!.. Надо только перевести

его в крайний номер, где подъемная плита с ходом.

– Ну, да! да!.. Разумеется! – согласился Шешковский, и таким образом все было решено.

XX. Пирушка

В небольшой горнице с кирпичным полом на обитых раскрашенной под деревья и зверей парусиной табуретах сидело несколько человек. На столе возвышался огромный жбан с пивом, стояли стаканы, кружки и бутылки с вином.

На первый взгляд, это была пьяная пирушка, судя по развязным позам, расстегнутым камзолам и беспорядку, царившему на столе.

Эту картину сверху освещали шесть восковых свечей, которые были вставлены в подсвечники, вделанные в железный круг, подвешенный на цепях к потолку.

Но все это казалось пьяной пирушкой лишь на первый взгляд. Вино было расплескано и разлито по стаканам, но его не пили... Лица были разгорячены, и глаза блестели, но не от вина...

Благодаря этой обстановке трудно было предположить, что здесь собрались заговорщики.

Это не было ни подzemелье, ни какой-нибудь таинственный замок, а, напротив, самое обыкновенное жилье обыкновенного обывателя, с отпертою дверью, и именно поэтому трудно было предположить, что тут собралась не веселая компания для разгульного времяпровождения, а люди, задумывающие серьезное дело.

И насколько это серьезное дело не соответствовало по-

пойке, настолько эта попойка предохраняла от всяких подозрений. Людям, умеющим действовать, скрываться не надо; необходимо только уметь скрыть свои действия.

Один из сидевших за столом сказал:

– Как угодно, а я считаю, что наше дело проиграно!

– То есть как проиграно?

– Немцев нам не побороть!

– Ты думаешь, Россия так-таки навсегда в их руках и останется?

– Ах, не знаю я ничего!.. Вижу только, что Бирон держится как ниспосланное свыше наказание, словно язва египетская, и ничего с ним нельзя сделать!

– Да неужели нельзя свалить его?

– Нельзя. Держится он, что ни делали! Уж на что Волинский повел дело, а и он потерпел неудачу, и все осталось по-прежнему.

– Хуже прежнего!

– Так дальше жить нельзя!.. Я не о себе говорю – мне что ж! – но мне за людей обидно... ведь это иго хуже татарского!..

– Взять да разом и кончить!.. Что с ним церемониться!

– Не говори вздора-пустяка!.. Если б можно было – давно кончили бы.

– Надо прямо народ поднять.

– Прошли, брат, те времена, когда перевороты делались народным возмущением. Нынче ничего этим не добьешь-

ся...

– Войско надо на свою сторону перетянуть...

– Разве оно не на нашей стороне?

– В войске ропот на немцев идет большой.

– Наверху там сидят немцы, бироновцы, вот и ничего с войском и не сделаешь.

– Я говорю, наше дело проиграно.

– Позвольте, господа! Но что мы можем сделать? Ну, конечно, мы все умереть готовы хоть сейчас, я первый себя не пощажу, и ты, и ты, и все мы готовы умереть... Но и только... Погиб Волынский, погибнем и мы... А суть в том, что после Волынского там, наверху, никого не осталось, кто мог бы идти с нами. Все преданы Бирону и смотрят из его рук... Россия продана, и на этот раз разрушение ее неминуемо.

– Ну, если историю вспомнить, то не впервой на Руси лихолетье – выходили до сих пор, авось, и с Бироном справимся.

– Не справимся!.. На этот раз разрушение, говорю, неминуемо.

– Ведь в самом деле, что ж нас – маленькая горсточка, а что же мы можем сделать?

– Погодите, господа! Я думаю, что не маленькая нас горсточка. Одни мы что ли русские? Или больше ни у кого уже сердца русского нет? Да что вы!.. Много народа чувствует так же, как мы. Только начать следует, а там и пойдет...

– Начать, так начать!.. Вот это – дело!..

– Дело! – подхватили несколько голосов сразу.

– И то правда! Что ж ждать? Все равно помрем...

– Погодите, господа!..

– Чего годить-то? Не трусить... Начнем, а там пусть пристанут к нам другие, а если не пристанут, все равно пример покажем.

– Позвольте минуту терпения! Позвольте просить вас, господа, выслушать, – заговорил сидевший до сих пор молча на углу стола.

Это был Жемчугов.

– Тсс... Митька говорит! Пусть Митька скажет! – слышались голоса.

– Я понимаю вас, – начал Митька, – и вполне разделяю вашу горячность. Если бы мы действительно дошли до отчаяния, то иначе и поступить нельзя было бы, ибо примириться с тем, что творится теперь, никто из нас не может... Но такой крайний шаг еще преждевременен. Я знаю, что теперь невыносимо, что мы готовы служить и повиноваться государыне, венчанной на царство и на священную власть, но не стерпим повиновения пред временщиком, потому что временщик – такой же простой смертный, как и мы, и служить ему мы не станем...

– Не станем! – раздалось со всех сторон.

– А между тем власть в его руках, и он гнет нас ради того, чтобы сохранить свое положение... Подлый раб, он хочет из нас сделать рабов.

– Нет, я убью его, как собаку, – крикнул чей-то голос.

– Вот у меня, – продолжал Жемчугов, – есть Ахметка, так он все говорит: «Я тебя зарежу!» или спрашивает: «Кого резать нужно?» Дайте срок!.. Нужно будет – мы на Бирона Ахметку пошлем – он с ним справится один... Но теперь еще не время. Вы думаете, на верхах нет никого, кто думал бы вместе с нами теперь? Ошибаетесь! Теперь там врагов Бирона больше, чем до того, как схватили Волынского. Волынский был горяч от природы и поступал так, как не надо. Пошел он на рожон и напоролся, и все тут. Кто дела не жалеет, тот иди по его следам и... укрепляй герцога Бирона, потому что он после каждой такой победы чувствует себя лишь сильнее. Нет, нынче умней стали. Нынче я на месте герцога Бирона боялся бы собственной тени; она может быть враждебна ему. Теперь он не сумеет отличить врага от друга, и его гибель близка, ближе, может быть, чем сам он думает и чем предполагаете вы... Конечно, Волынского жаль, но вольно ж ему было самому лезть... Но вот что я вам говорю – дайте мне срок – ну, полгода...

– Длинный срок! – сказали многие. Митька покачал головой.

– Или вы так уж торопитесь разделить участь Волынского? Ну, коли желаете, и вас прихватят к нему. Да если бы я у вас спросил пять лет, и тогда бы срок был бы мал, чтобы свалить временщика! Вы думаете, что так это стоит лишь захотеть?..

– Да ведь бывают времена, когда он непрочен...

– Пустяки и сплетни! – махнул рукой Жемчугов. – Бирон сидит так прочно, как ни один временщик не сидел... Эти слухи ходят лишь оттого, что слишком уж многим хочется, чтобы он был непрочен. Ну, а я прошу у вас всего лишь полгода и ручаюсь вам, что через полгода герцога Бирона в Петербурге не будет!

– У тебя есть на то основания? – спросило сразу несколько голосов.

– Есть.

– И серьезные?

– Я никогда зря не говорю; мне поверить можете.

– А можно узнать: какие?

– Вам нужно; только помните – молчать нужно.

– Кажется, ты знаешь нас.

– Ну, так вот! Выслежена любовница герцога Бирона, к которой он ездит только по ночам... Стоит только представить неопровержимые доказательства этого императрице Анне Иоанновне – и дни Бирона сочтены...

Это известие произвело потрясающее впечатление. Все как-то смолкли сначала, потом сразу раздалось несколько голосов:

– Виват, Митька! Вот это ловко!.. Молодцом!..

– Теперь вы видите, что поверить мне можно и что я не прошу вас зря ждать.

И все почти хором ответили:

– Согласны!

В это время в сенях, через комнату, раздался звук разбитой рюмки.

Это был своего рода сигнал. Рюмка была приспособлена так, что иначе нельзя было отворить дверь, чтобы не разбить ее.

Едва раздался звон стекла, в минуту все лица преобразились, кто-то затыкнул палец в рот, заговорили все сразу, и, когда вошло еще двое гостей, можно было голову отдать на отсечение, что тут происходит пьяная оргия, и ничего больше.

XXI. Иоганн

Двое вошедших были молодые люди, вполне подходящие и по своему облику, и по своему среднему общественному положению к компании, сидевшей вокруг стола.

Они не принадлежали вполне определенно к аристократической части общества, но также и не принадлежали к низам. Это были люди, у которых все ожидалось еще впереди, и они легко могли возвыситься или, наоборот, пасть; с одинаковой вероятностью могло случиться для них и то и другое...

Вошедших звали по фамилии: одного – Финишевич, а другого – Пуриш.

Несмотря на свои фамилии, звучавшие несколько чуждо для русского уха, они старались выказать себя русскими людьми, что сейчас же и поспешили подчеркнуть, войдя в комнату. Один, здороваясь, говорил: «Будьте здоровы, други добрые!», а другой крепко жал руки со словами: «Бувайте здоровы!»

Им сейчас же пододвинули полные стаканы, они стали пить и размашисто чокаться, как бы желая поскорее дойти до градуса всей остальной, по-видимому, пьяной компании.

Они и дошли, но сделали это так быстро, что даже самому неопытному новичку стало бы заметно, что они притворяются.

– Мы, кажется, прервали вашу беседу? – стал говорить Финишевич. – Пожалуйста, господа, продолжайте... О чем вы говорили?..

– Говорили мы о том, – ответил Митька Жемчугов, – что стали нынче воробьи по крышам скакать, а телята в поднебесье летать... Как бы теляти не очутиться в кровати, ну, а воробью не сесть в лужу... Это хоть нескладно, но зато справедливо!

– Ай да Митька! – расхохотался Пуриш. – Вот люблю!.. Всегда насмешит!.. Вижу я, однако, что вы тут пустяками пробавлялись!.. Словно бабы за веретеном, за стаканами закисли, а дело стоит и не двигается!..

Никто не ответил ему, и лишь с противоположного конца стола кто-то запел неприятным голосом: «И было дело под Полтавой»...

– Да, – подхватил Пуриш, – под Полтавой дело было!.. Мы же вот сидим и трусим, а немцы нас обуревают!..

– Как? – переспросил Жемчугов.

– Обуревают... то есть завладевают нами... – пояснил Пуриш. – Я вчера двух немцев побил, а сегодня – одного!

– Очень просто! – сказал Финишевич и расправил свои большие рыжие усы.

– Ведь я сейчас в морду!.. – крикнул Пуриш и ударил по столу кулаком. – Пора перейти от слов... к делу... Бить немцев! – громогласно завопил он.

– Да, вот если бы мы все рассуждали так, – сказал Фини-

шевич, – тогда Бирона давно не было бы.

– Да что нам Бирон? – снова закричал Пуриш. – Ведь Бирон держится только нашей слабостью!..

Кругом разговаривали довольно громко, несуразно и нелепо, по-пьяному, перебивая друг друга, и не слушали Пуриша, так что ему приходилось сильно кричать, чтобы обратить на себя внимание.

– Если захотеть, – орал он, – то с Бироном можно покончить, как и со всеми другими немцами: в морду их!..

Митька, не торопясь, закурил трубку и, попыхивая дымом, стал говорить рассудительно и не спеша, обращаясь главным образом к Финишевичу и как бы отмахиваясь от Пуриша, словно от жужжащего комара.

– Собственно говоря, я не знаю, почему уж так нападают на герцога! Что он будто тратит на себя много казенных денег? Так ведь нельзя же!.. Ведь он – первое лицо в таком государстве, как Россия, и, значит, должен иметь антураж! Мы – не нищие в самом деле, чтобы нельзя нам было содержать одного герцога. Да потом, благодаря ему, какое теперь спокойствие в России настало!.. Разбойников и лихих людей каждый день хватаем, поднимаем на виселицу и отрубаем им головы! А как он недоимки взыскивает? Превосходно!.. Об образовании нашем заботится, кадетские корпуса учредил. Разве все это русским сделать?.. Нет, история должна будет признать, что герцог Бирон продолжает реформы императора Петра! Это – великий государственный ум, который мы

еще и понять-то не можем! Пуриш в этот момент уже размахивал бутылкой и стоял на своем, крича:

– А я немцу подчиняться не желаю!.., не желаю!.., не желаю!.. Не так ли, господа? – обратился он на другой конец стола.

Но «господа» на другом конце стола шумели и разговаривали все сразу, и какого-нибудь толка от них добиться было невозможно.

– Да будет вам пить и пить все! – продолжал настаивать Пуриш. – Поговорим хоть раз серьезно!.. Ведь дольше оставаться в бездействии нельзя.

Но никто с ним серьезно разговаривать не хотел, и он должен был убедиться, что компания совсем пьяна. Тогда он, думая, что делает это незаметно, шмыгнул, ни с кем не простившись, в дверь и исчез в прихожей.

За ним сделал то же самое и Финишевич.

Выйдя на улицу, они оба поспешными шагами направились к Летнему саду и выбрали там крайнюю аллею у реки Фонтанной.

По этой аллее с палкой в виде костыля и в нахлобученной на брови шляпе гулял картавый немец Иоганн с черным железным кольцом на указательном пальце правой руки.

Этот Иоганн занимал странное положение при герцоге Бироне. Он постоянно находился при нем, когда герцог был дома, и исполнял какие-то очень сложные обязанности, не то главного советника и руководителя, не то доверенного, не то

секретаря, а не то просто дворецкого. Во дворце герцога он ничем не заведовал и не имел никакой определенной должности, но вместе с тем управлял всем и почти все здесь от него зависело, хотя знали это очень немногие; даже министры, и те не подозревали, какое значение имеет этот картывый и незаметный немец.

Кто угадывал это значение, тот получал ключ ко многим тайнам происходившего в те времена в России. Но для истории имя Иоганна осталось неизвестным, потому что о нем почти не оставили сведений записки современников.

Иоганн, встретив Пуриша с Финишевичем, остановился, и они подошли к нему.

– Ну, что? – спросил он.

– Ничего, – ответил Финишевич, – просто-напросто пьяная компания, как мы и говорили! Митька Жемчугов во главе!.. Он, как был пьяница, так и есть.

– И вы не услышали ничего интересного?

– Да, решительно ничего! Что же можно услышать в пьяной компании? А Митька Жемчугов даже в пьяном виде говорил, что герцог сделал много пользы для России.

– Ну, я вижу, вы плохо исполнили мое поручение! – сказал Иоганн. – Я не этого ожидал от вас! По моим расчетам, эта компания должна быть очень опасной.

– Может быть, они и опасны, когда трезвы, – возразил Финишевич, – но сегодня они были пьяны и решительно ничего серьезного дать не могли.

– Надо было заставить их говорить!

– Я старался! – сказал Пуриш.

– Не надо стараться! Надо уметь. Неужели этот Жемчугов опаснее, чем я думал? Или он в самом деле – только беспутный пьяница?

– Именно беспутный пьяница! – подхватил Пуриш.

– Я тоже думаю, что это верно, – согласился и Финишевич.

– Ну, это мы еще посмотрим! Они объяснялись по-немецки.

Пуриш переступил с ноги на ногу и скверненьким, заискивающим тоном проговорил:

– Господин Иоганн, мне бы нужно было немножко денег!

– Денег! Денег!.. – передразнил его Иоганн. – Все только денег, а делать ничего не умеете!..

– Но как же мы ничего не умеем? – залопотал Пуриш. – Я не щажу себя и оскандаливаю их.

– На одном скандале жить нельзя!.. Ну, хорошо: завтра утром зайдите, получите деньги и работайте более успешно!..

Иоганн круто повернулся и направился ко дворцу, а Финишевич и Пуриш пошли в другую сторону, к выходу.

– Пойдем куда-нибудь развлечься! – сказал Пуриш Финишевичу. – После дела я всегда люблю рассеяться.

XXII. Освобождение

Соболев не помнил, сколько времени пришлось ему сидеть в каземате, после того как был заперт тут с ним Митька, которого повели к допросу и который затем уже не возвратился. Он почти не переставая спал беспробудным сном. Его насилу дотолкались, когда пришли к нему, чтобы перевести его в другой каземат.

Соболев покорно подчинился этому переводу и даже был очень доволен ему, потому что в новом каземате была постлана свежая солома, так что очень удобно можно было лечь на ней.

«Ведь больше мне нечего делать!» – решил Соболев и разлегся на этой свежей соломе.

Но, видно, он уж слишком много спал, потому что сон больше не шел к нему.

Иван Иванович пробовал закрыть глаза, однако, они открывались сами собою, и в смутном освещении, пробивавшемся в каземат через маленькое решетчатое оконце, виднелись солома и каменный пол.

От нечего делать Соболев стал рассматривать солому и пол и вдруг увидел почти пред самым своим носом на полу комок бумаги, скатанный шариком...

«Что бы это могло быть?»

Соболев поспешно взял бумагу, развернул и, к своему

удовольствию, увидел, что на бумаге написано что-то несомненно Митькою, руку которого он тотчас же узнал.

Иван Иванович пригляделся и разобрал написанное. Там было сказано, чтобы он разгреб солому, нашел под нею плитку в полу с железным кольцом и, подняв плитку, спустился в подвал, а оттуда по каменному ходу, который не трудно найти, вышел на свободу, на пустырь, и немедленно явился домой, а затем эту бумагу сжевал и проглотил, чтобы уничтожить ее на всякий случай...

Сначала Соболева взяло сомнение: сделать все это или нет? Первое, что подумал он, было, что ведь он ни в чем не виноват, а потому не лучше ли ему спокойно подождать, пока его выпустят!

Он стал обдумывать это и, чем больше думал, тем более утверждался в своем решении.

Ведь удрал так из каземата (если даже и существует подземный ход, о котором говорится в записке), он рискует, что его опять заберут, опять посадят и зачтут его самовольный побег за улику, ему в вину, а он ни в чем не виноват, или если и виноват, то в оплошности, в пустой шалости...

Конечно, со стороны Соболева было очень наивно считать «пустую шалостью» попытку проникнуть в тайны герцога Бирона, который умел ограждать их, жестоко и несколько не церемонясь. Но наивность была свойственна характеру Соболева.

Решив «ждать естественного течения дела», он снова лег

на солому. Однако тут захотелось ему проверить: а правда ли, что под соломой есть плита с кольцом?

Он разгреб солому (что ж, от этого ведь ничего случиться не могло!) и действительно нашел все, как было сказано в записке: и плиту, и кольцо, и она поднималась, а под нею был подвал.

«Ну что ж, – стал рассуждать Соболев, – ведь если я спущусь в этот подвал, так это еще не значит, что я удеру... Ну, спущусь, посмотрю, что там, а потом опять влезу сюда, задвину плиту и лягу, как ни в чем не бывало»...

И он по мере того, как думал это, исполнял свою мысль на деле, и, спрыгнув в подвал, сейчас же увидел пред собою ход.

«Ну и загляну туда!» – сказал сам себе Соболев и... заглянул.

Ход был как ход, под землю, выложен кирпичом и довольно короткий, так что видна была отворенная дверь и в нее глядело небо.

Пахнуло весенним свежим воздухом.

Соболев сделал шаг вперед. Спугнутая им мышь кинулась в сторону, но он не заметил этого.

Завидев небо и почуяв свежий воздух, обещавший волю и свободу, Соболев, забыв уже все свои рассудительные решения, кинулся вперед и очутился на пустыре, как указывала записка.

Никого не было видно.

Соболев пошел вперед. Пустырь кончался берегом реки.

Выбраться к себе домой ему было не трудно.

Ни плаща, ни шпаги, ни шапки у него не было, и, вероятно, он представлял далеко не внушительный вид в своем измятом камзоле, нечищенных сапогах, загрязнившейся рубашке, простоволосый, включенный.

Но он, выбравшись с пустыря на улицу, догадался пошатываться, так что никого не удивил своим видом: встречные стали принимать его за пьяного, а в те времена пьяные на улицах были явлением даже симпатичным для всех, так как способствовали веселью, а потом каждый сознавал, что и с ним самим может случиться такое же, а потому надо было, значит, оберечь ослабевшего человека.

XXIII. Недоумение

Каземат с подземным ходом, из которого выбрался Соболев, имел в Тайной канцелярии свое специальное назначение для побегов, устраиваемых в целях розыска.

Какому-нибудь арестованному давали возможность бежать с тем, чтобы проследить за ним, куда он пойдет, к кому направится и с кем будет видеться. А затем забирали его снова вместе со всеми, с кем он имел сношение во время своего побега.

Этот каземат с подвалом под ним служил также для того, чтобы сажать туда двух заключенных по одному и тому же делу и слушать из подвала, что они разговаривали между собою.

Использовать этот каземат для освобождения Соболева было очень удобно, и потому Шешковский распорядился сделать так, как уговорился с Жемчуговым: он перевел Соболева в каземат с ходом, велел подкинуть туда записку Жемчугова, а Митька сидел и ждал у себя дома Соболева, освободившегося из каземата.

Сначала он ждал терпеливо, вполне допуская, что нужно время, чтобы вернуться Соболеву домой. Но вот прошел срок, когда, по его расчету, Иван Иванович должен был быть уже тут.

Митька постарался придумать кое-какие резоны, но Со-

болеу не возвращался, а потому Жемчугов начал беспокоиться.

Мало-помалу его беспокойство усиливалось, и, когда наконец наступила ночь, Жемчугов окончательно растерялся и, не зная уже, что подумать и что предположить, кинулся в канцелярию, чтобы узнать там от Шешковского, что такое случилось.

Шешковского он застал за бумагами, готовящимся к предстоявшему очередному допросу.

– Что такое?.. Что случилось? – спросил Жемчугов, входя.

– Ну, что еще? – недовольно поморщился Шешковский и приподнял особенным образом брови, что служило знаком, чтобы Митька говорил тише.

Жемчугов облокотился на стол, нагнулся к самому уху Шешковского и почти совсем неслышным шепотом проговорил:

– Снегирь из клетки домой не вернулся...

– Твой?.. – так же неслышно произнес Шешковский.

– Ну, да... которого надо было использовать... Или в клетке дверцу захлопнули, и он сидит там?..

– Нет, вышел!

– Да не может быть!..

– Еще сегодня вечером вышел!

– И домой до ночи не пришел?

– Так где же он?!

– Я у тебя хотел спросить!

– Да почему же я могу знать? – воскликнул Шешковский. – Мое дело было выпустить!..

– Ну, не будем разбирать, кому что... Надо отыскать его теперь, с ним, видно, случилось что-нибудь.

– Да что же могло случиться?.. Парень ведь здоровенный... постоит сам за себя!

– Однако ж если он не явился домой до сих пор, то, значит, что-нибудь да случилось...

– Ну, что же?.. Надо найти след, так найдем!

– Ужасно досадно это! Без него трудно наладить наблюдение за домом!

– Трудно наладить! – передразнил Шешковский. – Трудно наладить! – повторил он громко. – Да есть двадцать способов, как ухитриться проникнуть в дом.

– Уж и двадцать? И одного довольно!

– Ну, конечно, довольно одного, и мы применим его и без твоего снегиря!

– Например?..

– Сейчас мне разговаривать некогда!.. Предупреди на завтра пани Марию, чтобы она была вечером дома и одна, чтобы сказала для всех гостей уехавшей; а сам ты с самыми крепкими будь в десятом часу вечера возле дома на Фонтанной. Там, по обычному свистку, я дам знать, что делать... Так ступай!.. Если какие будут изменения, я дам знать.

– Ах, кстати, знаешь, нельзя ли освободиться от этого Пуриша с Финишевичем? – произнес Митька. – Мы их теперь

выследили окончательно: они ходят к Иоганну с донесениями и, очевидно, получают деньги от него.

– Ну да, от него! – утвердительно кивнул головой Шешковский.

– Ну, так тем более, значит, надо от них освободиться.

– Ты совсем поглупел.

– Почему поглупел?

– Да потому, что самых простых вещей не сознаешь!.. Ведь если от них отделаться, то все равно других найдут, и тогда распознавай их! А этих мы, по крайней мере, знаем и можем водить за нос, как угодно, и заставляя их давать те сведения, какие нам нужно.

– В самом деле, я поглупел! – сказал Жемчугов. – Делать нечего, надо будет возиться с этой мерзостью!..

– А-а, брат, не все легко делается!..

– Да уж очень они противны!

– Ну, что ж делать! Стерпится – слюбится...

– Ну, а как же насчет снегиря-то?

– Я распоряджусь! Завтра же найдем! И не таких находили.

– Ну, хорошо! Так я пойду... Жемчугов возвратился домой.

Сам он рассчитал, что ему лучше оставаться дома и ждать там Соболева, который мог вернуться и ночью, если с ним случилось что-нибудь такое, от чего он мог освободиться личными усилиями.

Но он прождал напрасно всю ночь. Соболев не возвращал-

ся.

Шешковский поставил на ноги почти все, что было подчинено ему, но это оказалось безрезультатно, и Соболева не нашли и на другой день.

Жемчугов не получал никаких известий, терялся в догадках и тревожился ужасно, но, несмотря на свою тревогу, не мог все-таки забыть данное ему Шешковским поручение. Он пошел предупредить пани Марию и, собрав шесть человек, за которых мог поручиться, указал им, чтобы они были в назначенное время у заколоченного дома.

XXIV. На деле

В десятом часу Митька Жемчугов с шестью своими друзьями, из которых было двое военных – Синицын и князь Шагалов – находились вблизи дома на Фонтанной. Князь, Синицын и двое еще с ними тихо подплывали на лодке так, будто катаясь, а трое других сидели на берегу и удили рыбу. Трудно было заподозрить, что эти люди пришли за каким-нибудь иным, а не за тем делом, которым были заняты.

С утра погода стояла пасмурная, несколько раз принимался накрапывать дождь, и сгустившиеся облака серым пологом повисли над Петербургом, так что темнота была порядочная, несмотря на то, что на небе сходилась заря с зарей.

Митька, не получивший никаких объяснений в течение дня, не знал, что, собственно, надо будет делать, и не мог объяснить это своим друзьям, но они привыкли верить ему и, в общем, все-таки знали, что дело касается любовницы герцога Бирона.

Ждать им пришлось недолго. Раздался условный свисток, сидевший спиною к дому Митька обернулся и увидел, что откуда-то из этого дома идет густой дым. Еще немного – и показалось пламя: заколоченный дом загорелся.

Без всяких объяснений Митька и все бывшие с ним поняли, что надо было делать. Они кинулись к дому.

Откуда-то Жемчугову подвернулся оборванец и, сделав

предварительно известный Митьке условный знак, быстро проговорил:

– Спасайте тех, которые в доме, и отвезите их к пани Марии.

– Понимаю... знаю! – ответил только Жемчугов и побежал вперед.

За ним следовали его друзья.

Они бросились к окнам и стали отдирать доски, стараясь нарочно шуметь и кричать, чтобы обратить внимание на себя.

И Жемчугов, и все остальные понимали, что, как только распространится весть о пожаре, сбегутся на помощь другие, и та, которую им нужно было захватить, может ускользнуть от них.

Князь Шагалов был догадливей других: он схватил огромный булыжник и сбил им железный замок у калитки.

В суматохе Митька заметил удалявшегося оборванца, который кивнул ему головой в знак поощрения и громко сказал:

– Один из двадцати способов.

Когда замок на калитке был сорван, все семеро кинулись во двор, и Митька сообразил подпереть калитку со стороны двора палкой так, чтобы никто не мог отворить ее снаружи, и таким образом им можно было хозяйничать тут подольше.

Пожар разгорался; дом занялся с трех концов, но и со стороны двора он казался таким же нежилым, как и с улицы.

Само собою разумеется, что надо было найти жилую часть дома и там искать ту, которую надо было спасти от пожара.

Направились в сад, и тут, со стороны сада, Жемчугов заметил дверь, отворенную настежь. Он вбежал в дом, как-то бессознательно, сам не зная почему, словно руководимый чутьем, поднялся по лестнице, а там толкнул какую-то дверь. Она растворилась, и Митька увидел распростертую на полу молодую девушку...

Какая была горница, где она лежала, что было в этой горнице и был ли еще кто-нибудь тут, Жемчугов не заметил; он быстро схватил девушку на руки и кинулся с нею вниз, чувствуя, что время терять было нельзя, потому что дым сильно давал себя знать, и пламя могло показаться и здесь в каждый миг.

Внизу на помощь Жемчугову подоспели остальные. Они вынесли девушку, бывшую в обмороке, из калитки к реке, положили ее в лодку и закутали в оставшийся там плащ.

Жемчугов, князь Шагалов и Володька Сеницын сели в лодку и заработали веслами, а остальные четверо остались у пожара, чтобы помогать тушить его.

Народ уже сбежался, и вокруг пожара уже началась обычная суматоха. На колокольне недалекой Симеоновской церкви били в набат, но было очевидно, что отстоять дом трудно и что он должен сгореть дотла...

Лодка между тем быстро направилась по Фонтанной к Невскому. Там князь Шагалов выскочил на берег и без це-

ремонии остановил первую попавшуюся карету.

Из последней послышался грубый голос:

– Ну, что там еще? Кто смеет останавливать?..

– Я – князь Шагалов, – проговорил князь, подходя к двери.

– Ну, а я, – послышалось из кареты, – барон Цапф фон Цапфгаузен... Что вам еще нужно от меня?.. Мы еще будем иметь время свести с вами наши счета!

Барон счел все-таки приличным случаю вспомнить нанесенную ему князем обиду в виде приклейки к седлу.

– Прошу у вас извинения, барон, но я остановил вас вовсе не для сведения счетов, а вследствие совершенно экстренного обстоятельства, как дворянина, так как в нашей помощи нуждается женщина.

Барон был, по-видимому, и рад, и вместе с тем польщен таким оборотом дела; он поспешно выскочил из кареты и проговорил:

– В таком случае мой экипаж к вашим услугам, если он необходим для того, чтобы помочь женщине.

– Пойдемте сюда! – сказал Шагалов и повел барона к лодке.

Когда они подходили, то Жемчугов узнал барона Цапфа и сказал сидевшему с ним в лодке Синицыну:

– Шагалов ведет сюда барона Цапфа!.. Ты отправляйся с ними, а я останусь в лодке. Лучше было бы, если бы он меня не заметил...

Князь с Цапфом подошли, и Синицын нарочно засуетился.

Барон, увидев девушку в обмороке, весь увлекся тем, чтобы помочь ей, и Митька мог рассчитывать, что он не узнал его впопыхах и в темноте.

Барон, князь и Синицын донесли молодую девушку до кареты, и, когда положили ее туда, барон проговорил по-немецки:

– Да, она красива!.. Но куда же мы теперь повезем ее, если дом, где она жила, сгорел?

Пока они шли, князь успел объяснить ему, в чем было дело.

– Да я не знаю, – предложил Шагалов, – все ведь мы живем на холостом положении!.. Пожалуй, лучше всего, не отвезти ли ее к пани Ставрошевской – кстати, она ближе всего живет здесь – и попросить у нее гостеприимства, впредь пока барышня не очнется и не скажет, куда она может отправиться?..

– Ну да, конечно, к пани Марии, – сейчас же одобрил Цапф фон Цапфгаузен и велел карете шагом ехать к госпоже Ставрошевской.

XXV. Неожиданность

Дом пани Ставрошевской был не освещен, и в нем не было заметно никакого движения, когда на его двор въехала карета барона в сопровождении трех молодых людей. Выбежавший слуга сказал, что барыня больна и никого не принимает. Но Шагалов и барон послали его доложить, объяснив подробно случай, который привел их сюда.

Тогда сейчас же в окнах показался свет, выбежали гайдуки, заторопились, засуетились и сказали, что «барыня просят».

Барон, Синицын и князь Шагалов взяли на руки приведенную ими девушку и внесли ее в большую гостиную нижнего этажа, где положили на диван.

Пани Ставрошевская выбежала к ним в кружевном пеньюаре и взволнованно заговорила:

– Ах, какой случай!.. Представьте себе, я была нездорова, даже совсем больна, и вдруг мне докладывают...

Но тут она увидела лежавшую на диване девушку и вдруг с ней произошло что-то невероятное. Она пошатнулась, схватилась за спинку кресла, чтобы не упасть, потом метнулась вперед, остановилась, уставилась широко раскрытыми глазами в лицо девушки и почти крикнула:

– Откуда вы достали ее?..

– Вы знаете ее? – спросил князь Шагалов.

– Нет... нет... ничего!.. – заторопилась пани Мария. – Но что с нею? Отчего она не двигается?..

– Она имеет обморок! – сказал Цапф фон Цапфгаузен.

– Тогда надо помочь ей скорее! – засуетилась Ставрошевская. – Скорее спирта... холодной воды... Князь, пошлите за доктором... или нет!.. Сами поезжайте... Барон, а вы отправляйтесь в аптеку и возьмите там какие нужно лекарства... А вы, Синицын, ради Бога, похлопочите в полиции, чтобы мне не ответить в случае, если что-либо произойдет с нею у меня в доме... Отправляйтесь же, господа, скорее, а я пока приму без вас все меры!..

Все трое поспешили исполнить распоряжения пани, а она, оставшись одна с девушкой, стала быстро распускать ее шнуровку.

Нервность и напряженность, с которой она делала это, показывали, что ее поспешность происходила не только из желания помочь, но, видимо, у нее были и свои личные расчеты. Если бы был тут в комнате еще кто-нибудь, он мог бы услышать, как пани Ставрошевская произнесла довольно внятно:

– Наконец-то попалась ты мне в руки!

Она, уверенная в каждом своем движении, распустила шнуровку, раскрыла лиф и сняла с шеи девушки круглую золотую пластинку, висевшую у нее на теле на золотой цепочке. Затем она быстрым усилием разорвала эту цепочку и, схватив ее, стала рассматривать золотую пластинку, о суще-

ствовании которой, видимо, знала заранее, так как, очевидно, искала именно ее на груди у девушки.

На этой пластинке были начертаны два треугольника с еврейскими буквами вокруг, а на оборотной стороне – такие же буквы и знаки. Это был один из тех талисманов, в которые еще верили в восемнадцатом веке и придавали их силе и влиянию большое значение. Иногда, чтобы достать такой талисман, шли на преступление.

Разглядев пластинку и убедившись, что она – та самая, которую она искала (да другой и быть не могло), пани Мария почувствовала прилив необычайной радости и, буквально дрожа от этой радости, побежала к себе в спальню и там спрятала талисман в секретный ящик стоявшего в углу старинного бюро. Однако только что спрятав, она снова отперла ящик, достала оттуда талисман и начала снова рассматривать его.

Вследствие этого, когда князь Шагалов привез доктора, сделав это скорее, чем можно было ожидать, пани Мария была еще у себя в спальне, а девушка по-прежнему недвижно лежала на диване в гостиной.

XXVI. Жемчугов ничего не понимает

Ставрошевская, когда приехал доктор, выбежала, якобы очень сильно взволнованная, стала охать и ахать и говорить, что она сделала все, что было можно и что было в ее средствах, чтобы привести девушку в чувство, но что это оказалось невозможным. Распушенная шнуровка и открытый лиф продолжавшей лежать без сознания девушки как бы подтверждали ее слова.

Князя Шагалова не допустили в большую гостиную, где лежала молодая девушка полураздетою, и он оставался в угловой светлице с изразцовой фигурной лежанкой. Сюда же были введены барон Цапф, явившийся с медикаментами, и Синицын, вернувшийся из полиции, куда он дал знать о всем случившемся.

Доктор возился очень долго и, наконец, вышел в светлицу с лежанкой, качая головой и разводя руками.

– Поразительный случай летаргии! – сказал он с сильным немецким акцентом. – Если она не придет в себя до завтра, то может пролежать там долгое время!.. Это – поразительный случай летаргии! – и тем же тоном, не делая никакого перерыва, он обратился к Шагалову с вопросом: – А кто же мне будет платить за визит?

– Я тоже, – заявил барон, – купил медикаменты на свой собственный счет.

– Я вам заплачу! – сказал Шагалов.

– Да нет, я только говорю, что заплатил за медикаменты; я ничего ни с кого не требую, – сказал барон Цапф, но деньги, которые тут же вынул и предложил ему князь, все-таки взял.

– Ну, что же! – сказал Шагалов. – Пока нам нечего делать здесь! Вероятно, пани Мария позаботится о спасенной нами девушке, а мы можем разъехаться.

– Какой назидательный случай! – сказал барон, садясь в свою карету. – Я непременно помещу его в свои исторические записки.

Митька Жемчугов отвез лодку к плоту, где она была взята у лодочника, и отправился скорым шагом домой, куда должен был к нему явиться Шагалов с рассказом о том, что сделалось дальше с молодой девушкой, и где он надеялся все-таки увидеть вернувшегося Соболева.

Однако Ивана Ивановича не было. Куда он мог деться, Митька понять не мог; впрочем, если он не мог понять это, то и все, что было затем, явилось для него также совершенно непонятным.

Князь Шагалов приехал и рассказал, что девушка лежит в летаргии, то есть объята сном, имеющим все признаки смерти, и что поведение пани Марии было более чем странным, когда она увидела девушку.

– Понимаешь ли ты, – рассказывал князь, – ну я дал бы голову на отсечение, что она знала эту девушку раньше и узнала ее теперь. Это, по-видимому, страшно поразило ее! Но, когда я спросил, что такое с нею, она стала отнекиваться и заминать разговор.

– Ведь это было при бароне и при Сеницыне? – спросил Митька.

– Да, при них.

– Ну, может быть, Ставрошевская нарочно хотела скрыть именно от барона, а для нас, если она знает, кто такая эта девушка, тем лучше...

– Да, заваривается каша! – сказал Шагалов, прощаясь, потому что торопился: он мог еще поспеть на бал к Нарышкину, куда ему хотелось.

Жемчугов, проводив князя и не видя в прихожей Ахметки, который обыкновенно всегда торчал тут, спросил, где он, у Прохора, и тот сообщил, что Ахметка ушел сегодня и не возвращался.

Ахметка был свободным человеком и, конечно, мог уйти, но все-таки его исчезновение показалось Жемчугову странным. Такая уж, видно, линия была сегодня целый день!

Жемчугов спросил себе ужинать, потому что вечером не ел ничего, и, поев холодной телятины да пирога, оставшегося от обеда, запив это домашним пивом и закусив холодной простоквашей, отправился в свою комнату. Только что он хотел было расположиться на ночь, как в окно, которое

из комнаты Митьки выходило в сад, ударилась горсть песка, брошенная из сада.

Жемчугов сейчас же поднял окно и выскочил через него в сад.

– Грунька, ты? – внушительным шепотом произнес он, оглядываясь кругом и никого не видя. – Грунька!.. Выходи, или я домой вернусь... не до тебя сегодня!

Из-за дерева высунулось миловидное, задорное лицо той, которую Митька называл «Грунькой».

– Ан, врешь! Сегодня-то у тебя дело до меня и есть! – проговорила она, выступая из-за дерева.

На ней была полосатая короткая юбка с широкой розовой буфой на фижмах, маленький обшитый плойкой фартук с кармашком и кружевной чепчик на голове.

Грунька была типичной горничной, как будто ни в чем не уступавшей любой французской камеристке.

– Ах, ты, Грунька! Шельма ты моя! – проговорил Жемчугов, бесцеремонно обнимая девушку. – Какое такое у тебя дело! – и он чмокнул ее в щеку.

Она не отбивалась, но проговорила только:

– Пусти!.. Ишь, идол! Только бы тебе вешаться все!.. Говорят, дело есть!

Девушка, видимо, отлично знакомая с расположением сада Соболевского дома, потащила Митьку к скамейке, окруженной акациями, и усадила его.

– Слушай!.. Сейчас привезли к нам какую-то кралю писа-

ную...

– Знаю! – сказал Жемчугов. – Привезли князь Шагалов, барон Цапф и Сеницын.

– Ну, да!.. Это все, конечно, твои штуки! Я в этом не сомневаюсь! Ведь ты приходил предупреждать, чтобы пани была дома сегодня вечером и ждала!

Грунька служила горничной у Ставрошевской. Выходивший на Невский дом пани своими службами примыкал к закоулкам, через которые можно было легко и скоро попасть в сад Соболева, для чего в заборе сам Митька устроил калитку; у него и у Груньки было по ключу от нее.

В лице Груньки Митька соединял приятное с полезным. Через нее он мог следить за Ставрошевской.

Груньке, видно, нравилась ее роль, она так и бегала к Митьке.

– Видишь ты, – сказал ей Жемчугов, – что все твои дела я и без тебя знаю, и ничего ты не стоишь со своими делами!..

– Отстраните ваши руки, сударь! – сказала Грунька по-французски, хотя и с очень дубовым произношением, но все-таки по-французски. – Силь ву пле! – добавила она, ударив по рукам Митьку.

– Бонжур, мармелад, портмоне! – сказал, дразня ее, Жемчугов.

– А все-таки я знаю то, чего ты не знаешь!

– Ну?..

– Как привезли, положили на диван...

– Это ту, которую привезли?..

– Ну, да.

– Она ж в обмороке?

– Да, да, в обмороке, но только пани Мария сейчас ушла всех – кого за доктором, кого в аптеку за лекарством и в полицию – и, как осталась одна, так распустила шнуровку у этой самой твоей девушки, раскрыла ворот, сняла у нее с шеи золотой кружок – вот этакий – и пошла к себе в спальню...

– Пани Мария?

– Ну да, она... я в щелку двери смотрела! Как есть все видела!

– Это интересно! – сказал Жемчугов. – Ты – молодец у меня, Грунька!.. Мне надо сейчас идти тогда к Ставрошевской!

– Уж и сейчас! Пожалуй, и подождет.

– Нет, дело не ждет! Кажется, мешкать нельзя. Приходи завтра на машкераду в оперный дом, там повидаемся, как следует!..

– Ну, на машкераду так на машкераду! – согласилась Грунька. – А моя-то нешто отпустит меня?

– Отпустит.

– А, может, мне при ней надо будет сидеть, чтобы приглядеть за нею завтра?

– Ну, там посмотрим, а сейчас мне надо торопиться! И без того поздно!.. Удирай! – и Митька громко чмокнул Груньку в самые губы.

Стесняться ему было нечего: в соболевский сад никто никогда не заглядывал.

Грунька фыркнула и, зашуршав юбкой, исчезла в саду, а Жемчугов влез в окно, взял трость и шапку, накинул на себя плащ и вышел из дома.

Идти в обход по улицам и Невскому было гораздо дольше, чем напрямки через сад, и потому, когда Жемчугов посту- чал у двери Ставрошевской, вместе с отворившим эту дверь гайдуком вышла ему навстречу и Грунька, чинно и важно, как заправская горничная.

– Пани уже легла спать! – церемонно и жеманно прогово- рила она Жемчугову.

– Поди и скажи ей: «Струг навыверт!», – распорядился тот и вошел в прихожую, кинув плащ гайдуку.

Грунька опрометью побежала исполнять его приказание и сейчас же вновь показалась на верхней площадке лестницы, говоря:

– Пани просит вас вниз, в светлицу с лежанкой! Она сей- час выйдет к вам.

Ставрошевская действительно сейчас же вышла к Жем- чугову в светлицу с лежанкой, но на все его расспросы отве- чала только одно, что она совсем нездорова, что чувствует себя ужасно плохо, что молодой девушки никогда не видала раньше, не знает, как ее зовут, и вообще решительно ника- кого отношения к ней никогда не имела.

Зачем нужно было ей лгать, Жемчугов объяснить себе не

мог, а что она лгала – было для него несомненно.

Однако он ограничился только общими расспросами и сделал вид, что вполне удовлетворился ответами Ставрошевской; о том же, что он знает, что она сняла с шеи девушки золотой кружок, он не сказал ей из боязни, что этим заставит ее быть только больше осторожной на будущее время.

Но во всем происшедшем он решительно ничего не мог понять.

XXVII. На куртаге

При дворе был назначен куртаг, то есть малое собрание, куда имели проезд только придворные чины и генералитет.

При императрице Анне Иоанновне куртаги состояли в том, что придворные генералы собирались в большом зале ее дворца, она выходила с герцогом Курляндским и ближайшей свитой, садилась в кресло и или разговаривала с Бироном, или подзывала к себе по очереди тех, кого желала осчастливить своим разговором.

Предполагалось, что на куртагах должна царить оживленная, непринужденная и шумная веселость, и потому все старались улыбаться и делать вид, будто занимательно разговаривают между собой, но на самом деле зорко следили за тем, что делалось возле кресла, беспокойно озирались и старались нюхом угадать, кто нынче в милости, чтобы повертеться возле него, и на кого нынче смотрят косо, чтобы – чего Боже сохрани! – не заговорить или даже не стать рядом с ним.

Обыкновенно, еще до выхода государыни, по каким-то невидимым признакам, сразу устанавливался камертон дня и уже заранее становилось известным, в духе ли сегодня государыня или нет.

А зависело это всецело от настроения герцога Бирона, делавшего «погоду» при дворе Анны Иоанновны.

Бирон был на вершине своего могущества, только что

одержав победу над Артемием Вольтинским, который уже был арестован и пытан, но еще не казнен, хотя его казнь была несомненна для всех. Благодаря этому все последнее время герцог Курляндский был в хорошем расположении, и государыня дарила на куртагах всех милостивой улыбкой.

Но на этот раз стало известным, что в воздухе пахнет грозой и что тучи сгустились.

Никто не мог даже предположительно догадаться о причинах этого; но как только показалась государыня с плаксивым выражением своего толстого, отекавшего лица, а за нею — герцог Бирон, который был мрачнее ночи, так всем стало ясно, что опасения оправдались и надо держать ухо востро.

Государыня, окруженная своими ближайшими, с принцессой Анной Леопольдовной и ее мужем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, вышла и, не ответив ни на один из низких поклонов, а обведя только весь зал мутно-брюзгливым взглядом, взглянула на герцога Бирона, опустила глаза и, сев в кресло, откинулась на спинку.

Ближайшие придворные робели подойти к ее креслу, не желая попасться на глаза.

Как всегда одинокая, избегаемая всеми, встала отдельно у окна прямая и гордая Елизавета Петровна, дочь Петра Великого; за сношения с нею и в хорошие-то дни можно было попасть в опалу при тогдашнем дворе, а уже в дурной день, как сегодня, нужно было и вовсе сторониться ее.

Главным, что волновало всех, было полное отсутствие ка-

ких-либо причин и даже признаков для такого внезапного тяжелого настроения.

Известно было, что вчера с вечера государыня не отпускала от себя Бирона, и обыкновенно это служило обстоятельством благоприятным. Тем не менее что-то случилось, и все это видели и, чувствуя еще слишком живо, как недавно было поступлено с Волинским, дрожали теперь за себя самих.

Один из всех присутствующих в этом огромном зале, если не знал всех подробностей, то во всяком случае имел кое-какие данные для того, чтобы распознать их, а именно Андрей Иванович Ушаков стоял с самым невинным видом, как будто был так далек от всего происходившего здесь и так занят своим серьезным государственным делом, что ему просто некогда было обращать внимание на что-нибудь другое.

Он стоял с опущенным взором, но все время следил за Бироном и, по тому, как тот подвигался в расступавшейся перед ним толпе, сразу почувствовал, что герцогу хочется приблизиться к нему, Ушакову, и поговорить с ним так, будто случайно, не слишком подчеркивая это пред присутствующими.

Ушаков передвинулся с таким расчетом, чтобы попасться Биرونу как бы случайно на глаза, в сторонке у стены зала, и Бирон, заметив его, вдруг сделал по направлению к нему два больших шага и остановился.

Сейчас же все окружающие отступили, и около них образовался широкий пустой круг.

Герцог разговаривал с начальником Тайной канцелярии и

был так недоволен чем-то, как почти никогда не видели его. Кому-то грозила неминуемая беда.

И всякий думал, не ему ли это, и с замирающим сердцем старался вспомнить все свои поступки, слова и даже помыслы, пытаясь выяснить, не было ли в них чего-нибудь такого, к чему можно было бы придраться.

Анна Иоанновна, обернувшись и увидев, что возле нее никого нет, наморщилась и проговорила громко, ни к кому особенно не обращаясь:

– Ну, что же это замолчали все?

К ней сейчас же подскочили двое немцев, преданных Бирону и покровительствуемых им людей, и постарались завести разговор, а в зале поднялся неуверенный говор, во исполнение приказания государыни не молчать.

– Пожары в Петербурге не прекращаются! – сдвинув брови, проговорил Бирон Ушакову.

Тот так и знал, что герцог заговорит с ним о сгоревшем доме, и ждал только, как к этому приступит Бирон и насколько выдаст себя в этом разговоре. Он почтительно склонился перед его светлостью и с выражением непоколебимой преданности ответил:

– Поджигателей не щадим! Еще недавно крестьянский сын Петр Водолаз да крестьянин Перфильев сожжены живыми на том месте, где учинен их злодейством пожар.

– А между тем вчера вечером опять горело?

– Так точно, ваша светлость! Вчера был небольшой пожар:

сгорел какой-то заколоченный дом на Фонтанной.

– Сгорел, однако, дотла?

– Совершенно дотла, ваша светлость.

– Поджигатели найдены?

– Пока еще нет... разыскиваются.

– Разыскать во что бы то ни стало и казнить без пощады!

Ушаков поклонился и сказал:

– Слушаю-с!

Он отлично видел, что Бирону хотелось узнать что-нибудь о судьбе молодой девушки, жившей в этом таинственном доме, и что герцог не знает только, как спросить об этом; но он не желал помочь ему и неумолимо ждал дальнейших вопросов.

Бирона передернуло, и, проворчав немецкую брань, он недовольно сказал:

– Вы, кажется, ни о чем не осведомлены?

– Я осведомлен обо всем, – с тихой, самоуверенной улыбкой сказал Ушаков.

«Ты у меня все-таки заговоришь!» – подумал он, поджав губы.

– Как же произошел пожар? – отрывисто спросил Бирон.

– По-видимому, был поджог, ваша светлость, потому что дом занялся сразу с трех концов.

– Были жертвы?

– Едва ли, ваша светлость. Дом был заколочен и необитаем! Случайно там находилась молодая девушка, вероятно,

пришедшая туда для свидания...

Ушаков вдруг закашлялся, как будто этот досадный прежде всего ему самому кашель прервал его речь и не давал ему произнести слово.

– Ну, а что же эта девушка? – почти крикнул герцог.

– Была спасена! – выговорил наконец сквозь кашель Ушаков и не мог не видеть, как известие о спасении девушки подействовало на Бирона.

Герцог вздохнул, словно освободившись от давившей его тяжести, а Ушаков опять подумал:

«Западня захлопнулась, и ты, голубчик, пойман».

– Где же она теперь? – спросил далеко уже не суровым голосом герцог.

– Хорошенько не могу доложить вашей светлости! Кажется, у одной благородной дамы! Впрочем, в ее спасении принимал участие, насколько мне известно, барон Цапф фон Цапфгаузен, офицер полка брата вашей светлости.

– Благодарю вас! Теперь я вижу, что вы хорошо осведомлены! – сказал Бирон Ушакову и, кивнув ему головой, пошел от него прочь.

Кругом заволновались и послышались любопытствующие голоса:

– А?.. Что?.. Что он сказал?.. Кому награда?

Но никто не мог расслышать ничего из разговора герцога с начальником Тайной канцелярии.

А Бирон направился к своему брату Густаву, который в

своей блестящей генеральской форме стоял и разговаривал с Юлианой Менгден, любимой фрейлиной Анны Леопольдовны.

– Где твой адъютант, барон Цапф фон Цапфгаузен? – спросил герцог, подходя к брату.

– Виноват! – сказал Густав Юлиане и обратился к брату. – Ваша светлость сами же изволили приказать посадить его под арест, что я и сделал сегодня утром.

– Ах, да! – вспомнил Бирон. – Он там болтал какие-то глупости!.. Но отчего же ты посадил его только сегодня?.. Впрочем, это не беда!.. После куртага немедленно пришли его ко мне.

Густав Бирон поклонился брату в знак того, что его приказание будет исполнено.

XXVIII. Иоганн действует

Как только кончился куртаг, герцог Бирон вернулся к себе и прошел в уборную, где ждал его Иоганн.

– Она спасена и, кажется, ничего с ней не приключилось! – сказал Бирон своему доверенному слуге.

Тот стал помогать ему переодеваться и вместе с тем ответил:

– Я знаю уже все и могу доложить вашей светлости: фрейлейн отвезена к польской даме, которая живет на Невской першпективе, в нанимаемом доме дворянки Убрусовой. Этот дурак Маркула отыскался и рассказал, как все произошло.

– А как себя чувствует Амалия?

– Она едва приходит в себя от испуга. Ведь она чуть не сгорела, ваша светлость!

– Я говорил тебе, что приставлять стеречь дом этого глупого латыша Маркулу было неосмотрительно; вот он ничего и не мог уберечь.

– Но, ваша светлость, тут был чей-то очень хитрый план. Тут, вероятно, действовали очень обдуманно и сообща. Я полагаю, что поджог был сделан нарочно, чтобы во время пожара похитить фрейлейн, и мне кажется, что это похищение находится в связи с недавним случаем, когда ко мне в лодку вскочил этот неизвестный молодой человек.

– Я думаю, Иоганн, ты это преувеличиваешь!

– Помните, ваша светлость, было ли когда-нибудь так, чтобы Иоганн ошибался, и я уверен, что и теперь говорю истину. Люди, желающие зла вашей светлости, сунули нос туда, куда им не следовало. Нужно это дело разобрать очень подробно и внимательно.

– Но расследование должна производить Тайная канцелярия, а все тут я не могу рассказать – ты сам знаешь – даже начальнику Тайной канцелярии.

– Ему – менее, чем кому-либо, ваша светлость!

– Ты не доверяешь господину Ушакову? Но ведь все его благополучие связано с моей властью, и если не доверять ему, то кому же доверять?

– Только верному слуге вашей светлости, Иоганну.

Бирон улыбнулся и покачал головой.

– Я верю тебе, мой добрый Иоганн, но не можешь же ты один делать все для меня!

– Я и не говорю о том, чтобы делать все, ваша светлость, но я хотел бы, чтобы расследование дела о пожаре дома происходило в моем присутствии.

– Для этого надо командировать тебя в Тайную канцелярию.

– Ну, что ж такое? Для этого достаточно лишь приказа вашей светлости.

– Но ведь ты не говоришь по-русски?

– Я отлично понимаю, когда говорят на этом языке.

– Впрочем, твоя мысль, пожалуй, недурна. Андрей Иванович Ушаков будет недоволен этим, но, конечно, осторожность требует присутствия такого человека, как ты, при разборе дела. Хорошо! Я распорядюсь... Но пока ведь еще нет никаких данных расследования?

– Они уже есть, ваша светлость! Сегодня утром найден поджигатель.

– Поджигатель?

– Так точно, ваша светлость. Наши люди с рейтарами работали на сгоревшем доме, разгребали доски и бревна, и под ними, в подвале, заваленном так, что из него нельзя было выйти, нашли человека, который, вероятно, и совершил поджог, а затем спрятался в подвал, где его и завалило, так что он не мог выйти, и был освобожден лишь нашими людьми, расчистившими доски и балки.

– Где же этот человек?

– Его отправили в Тайную канцелярию.

– Хорошо! Заготовь немедленно секретное предписание господину Ушакову и полномочие тебе присутствовать при следствии!.. Но только вот что: если все это было сделано умышленно, то при чем же тут барон Цапф фон Цапфгаузен?

– А разве господин барон замешан здесь? – удивился Иоганн.

– Он спасал вчера фрейлейн, и я вызвал его сейчас к себе.

– Все это надо подробно расследовать!.. – протянул Иоганн, раздумчиво качая головой.

– Впрочем, мне этот барон вообще не нравится! – проговорил Бирон. – Да и теперь, когда я знаю все уже без него, мне видеть его нечего. Поди в приемную – Цапф, верно, там – и скажи ему, что он может ехать.

– Но, ваша светлость, позвольте мне поговорить с ним?

– Говори, я этому не препятствую.

Иоганн вышел в приемную и нашел там барона Цапфа, явившегося по немедленно переданному ему приказанию.

Но от барона он узнал очень мало интересного. Барон мог только рассказать ему, что князь Шагалов с Синицыным остановили его карету и просили помочь спасти неизвестную молодую девушку.

– Князь Шагалов! Хорошо! – пробормотал картавый немец. – Кажется, это – одна компания!.. Ну, да мы все это разузнаем!

Он отпустил барона, а сам направился внутренним ходом, через коридор, в маленькую комнатку, служившую для него и помещением, и своего рода канцелярией и примыкавшую к заднему ходу в помещение герцога.

Здесь, в коридоре, у дверей этой комнаты, ждали Иоганна Финишевич с Пуришем. Иоганн, торопившийся к себе, чтобы поскорее написать приказ Ушакову, обратился к ним с явным неудовольствием:

– Что вам нужно?

– Немножко денег! – умильно произнес, ухмыляясь и поглаживая свои рыжие усы, Финишевич. – Ведь вы сами обе-

щали, господин Иоганн.

– Я совершенно не доволен вашей службой! – сказал Иоганн. – Вы ничего не делаете! Скажите, пожалуйста, ведь офицер князь Шагалов и Синицын...

– Принадлежат к компании Митьки Жемчугова! – подхватили в один голос Финишевич и Пуриш с охотливой угодливостью, как бы доказывавшею, что они и желают служить, и умеют делать это, ибо прекрасно осведомлены обо всем.

– Ну так вот, я поручаю вам следить теперь за каждым шагом этого Жемчугова и доносить мне, где он бывает, что он делает и с кем видается. Надо делать это, марш, марш!.. – и, сказав это, Иоганн вынул из кошелька несколько золотых и кинул их Пуришу.

XXIX. Соглядатай

Получив деньги, Финишевич с Пуришем вышли и направились по знакомой им аллее Летнего сада.

– Знаешь, – сказал Пуриш, – поедем куда-нибудь сначала развлечься!.. Я всегда люблю пред серьезным делом сначала рассеяться, а потом уже со свежими силами приняться за дело!

Финишевич усмехнулся и махнул рукой.

– Тебе бы только развлекаться! Ты и до дела, и после дела один норовишь брыкнуть куда-нибудь! Нет, брат, теперь нам дано важное поручение, и мы должны исполнять его!

Они шли некоторое время молча.

Пуриш был не совсем доволен таким оборотом.

– Знаешь, что мне пришло в голову? – вдруг заговорил он. – Мы вот что сделаем: отправлюсь я сейчас к Митьке Жемчугову и подобью его идти в трактир с нами. Такой пьяница, как он, едва ли откажется! И выйдет, что мы будем с ним как верные соглядатаи, а вместе с тем и развлечемся! А угощение, что с нас причтется, на счет немца поставим, потому это ведь по долгу службы!

– Что верно, то верно! – согласился Финишевич и даже прищелкнул языком. – Вот это идея!.. Так вот как: ты, значит, иди сейчас к Жемчугову, а я все-таки поручу двум-трем человекам наблюдение за ним внешнее!.. У меня люди най-

дутся! А потом пойду прямо в трактир и там буду ждать вас.

Уговорившись таким образом, они расстались.

Пуриш направился в дом Соболева к Митьке Жемчугову и ворвался к нему со стремительностью урагана, с объятиями, с объяснениями в дружбе и преданности.

Митька сидел злой, потерявший надежду, что Соболев вернется. Его все-таки очень изумляло, как это мог пропасть в Петербурге человек так бесследно, несмотря на то, что все силы Тайной канцелярии были направлены на его розыск.

Бурное появление Пуриша сначала рассердило Жемчугова, а потом как бы удивило. С какой бы стати этому человеку было вдруг изливаться в таких нежностях?

«Тут что-нибудь да не так!» – сказал сам себе Митька и стал внимательно наблюдать и прислушиваться к каждому слову Пуриша.

Тот между тем старался изо всех сил и, размахивая закуренной трубкой, повторял, не переставая:

– Ну что, в самом деле! Ну, поедем!.. Ну, возьмем вот так, да и поедем!.. Чего дома сидеть и киснуть? Поедем в трактир, выпьем!.. В кости сыграть можно... Ну, едем: марш-марш...

Митька долго приглядывался и прислушивался и потом внезапно, вскинув взор, спросил:

– А Финишевич где?..

Пуриш, не ожидавший такого вопроса в упор, смутился и невольно сболтнул:

– Он пошел по делу!

Митька недолго раздумывал, какое могло быть дело у Финишевича. Ему показалось, что он нашел, в чем тут была суть.

– Я с удовольствием пошел бы в трактир, – сказал он, – да не могу: мне надо идти!..

– Ну и я с тобой пойду! – заявил Пуриш, посмотрев на часы.

– Нет, я один пойду! – решительно произнес Митька.

Пуриш опять взглянул на часы и забеспокоился.

– Пойдем лучше в трактир! – начал опять приставать он.

«Дурак!» – мысленно обругал его Митька и сказал вслух:

– Знаешь, что?.. Выпьем лучше чего-нибудь дома!

– А что у тебя есть?

– Найдем что-нибудь! Хочешь полынной настойки?

Митька велел принести настойку и налил две рюмки; они чокнулись, выпили, закусили анисовым кренделем, как это делал в былые годы царь Петр.

Митька налил по второй, опустил руку в карман своего камзола, вынул оттуда аккуратно сложенную бумажку, незаметно расправил ее под столом, глянул в окно и проговорил:

– Смотри, Пуриш, вон по улице Финишевич идет... Пуриш бросился к окну, а в это время Митька ловко рассчитанным движением высыпал содержимое бумажки в его рюмку.

– Что ты врешь? Никакого Финишевича нет! – сказал Пуриш, отходя от окна.

– Ну, может быть, мне показалось! – согласился Митька. – Ну, выпьем!

Пуриш чокнулся и выпил. Вслед затем мало-помалу его глаза начали слипаться, голова свесилась, и он заснул на полуслове.

Как только Митька удостоверился в том, что Пуриш заснул, он встал, оделся и вышел, сказав Прохору, чтобы тот не будил Пуриша, который проспит, вероятно, часов восемь, а для того, чтобы не разбудить его, надо соблюдать возможную тишину.

«Ага! За мной следить вздумали! – рассуждал Митька. – Хорошо же! Посмотрим, что из этого выйдет!»

Он направился не через ворота на улицу, а через сад, по той дороге, по которой бегала к нему Грунька и которую едва ли кто-нибудь знал и мог по ней выследить его.

Выйдя задворками на Невский, Жемчугов направился прямо в Тайную канцелярию, где – он знал – должен был быть в это время Шешковский.

Он действительно застал последнего там и с места стал рассказывать, в чем дело.

– Ну, картавый немец Иоганн установил за мной по форме наблюдение и поручил это дело Пуришу и Финишевичу.

– Они давно были в сношениях с ним, это было уже известно! – сказал Шешковский. – Но почему ты думаешь, что им поручено следить именно за тобой?

– По моей системе! Ты знаешь, ведь я люблю всегда все

делать сам и по возможности не вмешивать других людей; мое выслеживание делается так, что сам человек, сам того не зная, рассказывает мне все. Зачем эти сложные приемы хождения по следам, подглядыванья и высматриванья, когда стоит лишь, если знаешь обстановку и человека, понаблюдить за его словами, и тогда все станет ясно?

– Ну, и что же тебе стало ясно? – спросил Шешковский.

– То, что Пуриш и Финишевич были сегодня у картавого Иоганна, получили с него деньги и обязались следить за мной, причем разделили этот труд так, что Пуриш рассчитывает присосаться ко мне под видом дружбы, так чтобы не отстать, а Финишевич – со своими оборванцами...

– А у него есть оборванцы?

– Да, их он нанимает за гроши... Так он со своими оборванцами должен следить за мной по пятам, так сказать, во внешнем наблюдении.

– Почему же ты думаешь, что это так?

– Я не думаю, но знаю это наверное. Пуриш ни с того, ни с сего явился сейчас ко мне и стал навязывать свою дружбу и вести себя так, словно уже имеет мое согласие на то, чтобы ему от меня не отходить. Он стал звать меня в трактир и при этом произнес «марш-марш» таким тоном и даже так немного прикартавив, что ясно было, что он только что разговаривал с картавым Иоганном, который любит употреблять слово «марш-марш» чаще, чем это нужно. Если прислушаться к речи недалекого человека, всегда можно угадать по двум-

трем прорвавшимся словам, с кем он говорил пред тем!..

– Но для этого надо знать хорошо этого человека!

– Я и Пуриша, и Иоганна слишком хорошо знаю. Ну, а дальше все понятно! Что Пуриш получил деньги, несомненно из того, что он показывал мне их, зовя в трактир, а иначе, как от Иоганна, ему не от кого было получить. Все его поведение со мной подтверждало мое предположение. Он пришел ко мне один, хотя всюду и всегда ходит с Финишевичем, потому что один боится предпринять что-нибудь... Ведь он – трус, этот Пуриш, и раз он был у меня один, можно было поручиться, что Финишевич с двумя-тремя оборванцами торчит где-нибудь возле дома и устраивает наблюдения. Если бы Пуриш пришел ко мне действительно лишь для того, чтобы звать в трактир, он сделал бы это непременно вместе с Финишевичем и не смутился бы, когда я спросил у него, где его приятель. Все это – простая логика.

– Вероятно, все это правильно и доказывает, что у тебя несомненный дар сопоставлять обстоятельства. В самом деле, ты один со своими мозгами стоишь многих. Ну, а где же теперь Пуриш?

– Заснул на восемь часов у меня дома.

– При твоём содействии?

– Ну, разумеется!

– А Финишевич?..

– Вероятно, продолжает караулить меня, потому что не может подозревать, что я выбрался из дома задворками. Но

послушай: один из твоих двадцати способов был недурен; все это вышло очень удачно, и девицу мы получили. Но что же дальше?

– Дальше будем разбираться. Кстати сказать, поджигателя нашли.

– Да неужели?

– Представь себе, в подвале нынче раскопали какого-то человека, заваленного там.

– Что же он показывает?

– Его только что привезли и заперли у нас. Вот будем допрашивать.

В эту минуту дверь шибко отворилась, раздался голос: «По личному приказанию герцога!» – и в комнату вошел картавый немец Иоганн в больших синих очках. Он уверенно и смело подошел к Шешковскому и положил пред ним запечатанную бумагу.

– Немедленно передать генерал-аншефу Андрею Ивановичу Ушакову! – сказал он по-немецки.

– Я по-немецки не понимаю! – произнес Шешковский, вставая.

Иоганн показал на подпись на бумаге, сделанную рукой самого герцога.

Шешковский взял бумагу и понес к Ушакову.

Иоганн и Митька, оставшись одни, посмотрели и узнали друг друга.

XXX. Поджигатель

Шешковский вошел в кабинет Ушакова и подал ему принесенную Иоганном бумагу от герцога. Ушаков прочел надпись на адресе и, увидев, что она была сделана рукой герцога, высоко поднял брови и значительно поджал губы. Затем он осмотрел печать и, только убедившись, что она была цела, вскрыл ее.

Пробежав глазами бумагу, Ушаков вдруг вскинул голову и, прямо поглядев на Шешковского, спросил:

– Бумагу эту принес сам Иоганн?

– Так точно, ваше превосходительство.

– Знаете ли, в чем тут дело? Его светлость герцог Бирон посылает к нам своего немца для того, чтобы он присутствовал при допросах.

– Как вы изволили сказать? – переспросил Шешковский, думая, что ослышался.

– Чтобы Иоганн присутствовал при допросах в Тайной канцелярии! – повторил Ушаков и, встав, заходил по комнате, заложив руки за спину.

– При всех делах? – снова спросил вконец изумленный Шешковский.

– Пока еще только по делу о пожаре этого дома на Фонтанной.

– Ну что ж, ваше превосходительство, отлично можно и

при нем розыск учинить, тем более что сегодня утром нашли и привели поджигателя.

– Поджигателя?

– Да, на которого есть улики, что он поджег этот дом; так его можно будет допросить и при немце.

– А кто поджигатель?

– Какой-то неизвестный человек, я еще не видал его. Одно только неприятно – сидеть рядом с лакеем Бирона!

– Позвольте, сударь! Иоганн в данном случае – не лакей, а доверенное лицо его светлости герцога Курляндского, как бы представитель его персоны. А если его светлости угодно, чтобы его представляло лицо лакейского звания, так в это мы входить не можем.

И они оба рассмеялись.

– Тут есть одно осложнение! – сказал Шешковский. – Иоганн ворвался без доклада, со словами: «по повелению герцога», а у меня в это время сидел Жемчугов.

– Ну, так что ж?

– Иоганн через своих людей давно приглядывается к нему и ко всей его компании и даже поручил двум своим наблюдать за ним.

– Уж не Пуришу ли с Финишевичем?

– Так точно, ваше превосходительство, им!

– Я думал, что они там умнее! Ну, что ж, ведите сюда немца, а Жемчугову скажите, чтобы он подождал у вас, пока я позову его.

Шешковский отворил дверь из кабинета Ушакова в свою комнату и позвал Иоганна, сказав ему, что «генерал его просит».

Иоганн в своих больших синих очках вошел, важно закинув голову, и поклонился Ушакову. Тот в свою очередь ответил ему учтивым поклоном и проговорил по-немецки:

– Честь имею кланяться моему новому сослуживцу.

Иоганн не нашелся сразу, что ответить, и ухмыльнулся только, пробурчав:

– Очень рад!

Ушаков отлично знал этого Иоганна и его недоверие ко всем русским вообще и даже к большинству немцев, когда дело касалось интересов герцога, которому он служил. Кроме того, ему было известно, что Иоганн – ему неприятель, и потому он следил за ним.

– Какая счастливая мысль, – сказал он немцу, – пришла вам в голову присутствовать при розыске по делу об этом пожаре! Вероятно, это дело особенно интересует его светлость?

– Его светлость интересуется тем, что слишком много пожаров! – сказал Иоганн.

– А этой молодой девицей, которая была в якобы заколоченном доме?..

– Но это, кажется, начинается мне допрос? – проговорил немец, не желая сдавать позицию.

– О, нет! Я так только, для пользы дела!.. – сказал Уша-

ков. – Позвольте же мне познакомить вас с моими служащими, – и с этими словами он вывел Иоганна назад в комнату Шешковского, представил его немцу как своего секретаря и, показав на Митьку Жемчугова, добавил:

– А это – мой агент!..

– А-а! – удивился немец. – Я не знал, что господин Жемчугов – один из агентов вашего превосходительства!

– К сожалению, – ответил Ушаков, – я не могу вас, в свою очередь, титуловать по чину, так как, насколько знаю, вы никакого чина не имеете. Но вот что я вам скажу, мой добрый господин Иоганн: нет ничего мудреного, что вы не знали моих агентов, ну, а теперь как вошедший официально в розыск можете узнать их. Весь этот разговор совершенно не нравился Иоганну, и в особенности не нравилось открытое признание Ушакова, что Жемчугов – его агент.

– Не начнем ли мы сейчас допроса? – спросил Иоганн.

– Отчего же? Мы можем сделать сейчас предварительный беглый допрос здесь! – согласился Ушаков, потянул носом табак из табакерки и сказал Шешковскому: – Распорядитесь!

Пока послали за арестованным, Шешковский сделал краткий доклад о том, как нашли этого арестованного в подвале сгоревшего дома. Наконец, двое часовых ввели «поджигателя» в комнату, и Митька сейчас же узнал в нем Соболева, хотя тот почти вовсе не был похож на самого себя. Его платье превратилось чуть ли не в лохмотья, подбородок оброс щетиной, волосы были спутаны, а глаза разбегались и не мог-

ли остановиться. По его взгляду трудно было даже понять, узнал ли он тут кого-нибудь или нет.

Прежде всего положение выходило глупое, потому что Жемчугов разыгрывал в каземате с Соболевым такого же схваченного, как и он, Тайной канцелярией человека, а тут вдруг он, Митька, сидит за столом вместе с чинящими допрос.

Но ведь невозможно было предположить, чтобы именно Соболева нашли в подвале сгоревшего дома и привели к допросу как поджигателя.

Шешковский понял тоже и глупость, и неловкость положения, и главное – опасность его.

Ушаков сидел с равнодушно-бесстрастной улыбкой и, вероятно, ничего особенного не испытывал, потому что едва ли мог запомнить Соболева в лицо, а если и запомнил, то, во всяком случае, отлично скрыл это.

Немец Иоганн пристально взгляделся в Соболева и вдруг проговорил:

– Да ведь это – тот самый молодой человек, который вскакивал ко мне в лодку.

Иоганн был так поражен, что произнес эту фразу даже по-русски и не хуже, чем это сделал бы любой немец, владеющий русским языком.

XXXI. Допрос

Митька испытывал такое чувство, которое ближе всего подходило к желанию провалиться сквозь землю.

Главное, не будь тут немца Иоганна, тогда еще можно было бы как-нибудь извернуться, но при нем все, что бы ни сказал Соболев, должно было неминуемо показать его тесную связь с Митькой, который был только что торжественно представлен как агент. Так или иначе, всякий человек должен был бы на месте Соболева проговориться, а сам Иван Иванович был так наивен, что от него можно было ожидать невесть каких промахов. И Жемчугов был уверен, что все потеряно.

Он смутно надеялся еще на изворотливость Шешковского, но не мог не видеть, что и тому очень не по себе.

– О, да! Это – тот самый! – повторил Иоганн.

А Соболев прищурился на него, склонил голову набок, прищелкнул языком и не проговорил, а как-то пропел:

– Как же, немец! И я тебя помню! Мы с тобой вместе в остроге за воровство сидели, за то, что в пекле уголья воровали.

– Что он говорит? – переспросил Иоганн у Ушакова.

Тот перевел слова Соболева по-немецки.

– Бессмыслица! – сказал немец.

«Кажется, парень-то с большим смыслом, чем я думал!» –

мелькнуло у Шешковского, и он выразительно кивнул Соболеву головой.

– Как тебя зовут? – спросил Ушаков.

– Раб Божий Иоганн... Впрочем, так меня прежде на земле звали.

– Иоганн? – переспросил немец.

– Да, по-немецки Иоганн... – сказал Соболев.

– А как ты попал в подвал, где тебя нашли? – опять предложил вопрос Ушаков.

– Был перенесен туда по щучьему велению...

– Ты мне вранья-то не плети! – мягко протянул Ушаков. – У меня есть чем заставить тебя говорить.

– Погодите, генерал! Дайте я спрошу, – вмешался Иоганн. Ушакова передернуло.

– Но ведь вы назначены только присутствовать при допросе, а допрашивать должен я! – тихо сказал он по-немецки.

– Нет, буду спрашивать я! – заявил увлекшийся Иоганн.

– Ну, тогда, как угодно! – насупившись, произнес Ушаков, поднял брови и равнодушно стал тянуть носом табак из табакерки.

Казалось, он делал это совсем хладнокровно, но Шешковский знал, что такая повадка служила у него признаком крайнего предела гнева, который он умел сдерживать таким образом.

Однако этот гнев был не во вред Соболеву, и Шешковский несколько успокоительно взглянул на Жемчугова.

– Как ты попадал в подземельный подвал? – со строгим лицом спросил Иоганн, обращаясь к Соболеву.

Тот заморгал глазами и, не в такт словам размахивая руками, заговорил скороговоркой, погоняя слова одно другим.

– Летела-летела верефья-мерефья, взбронтила лесу светлого, стоит сосна-древесна, придет красна весна, опрокинется, вей-вей...

– Но ведь это – бессмыслица! – решительно произнес Иоганн по-немецки. – Ведь он, должно быть, – сумасшедший.

Эта легковерность немца до того показалась веселой Ушакову, что вдруг весь гнев сбежал с него, он распустил губы в широкую улыбку, а затем и совсем рассмеялся.

– Но что же тут смешного? – продолжал Иоганн по-немецки. – Надо призвать доктора, и пусть он осмотрит этого человека. Если этот человек сумасшедший, и доктор подтвердит это, то его надо посадить на цепь и в сумасшедший дом. А если он притворяется, и доктор докажет это, то тогда надо допросить его по всей строгости законов.

Соболев в это время глядел, разиня рот, по сторонам и посвистывал, как будто дело вовсе не касалось его.

– Запишите, – сказал Ушаков, обращаясь к Шешковскому, – все так, как только что изложил господин президент.

– Но я вовсе не господин президент! – стал отнекиваться Иоганн. – Запишите, что мы так постановили все!

– Нет-с, сударь! Я на себя ваши распоряжения брать не

могу! – отрезал Ушаков. – Пусть будет записано в протокол все, как происходило. Вы сами отвечаете за свои полномочия пред его светлостью.

– О, да! Я отвечу! – сказал расходившийся немец.

– А теперь, значит, прикажете отпустить арестованного для освидетельствования его врачом?

– О, да! Отпустить.

– И вы берете всю ответственность на себя?

– Я же сказал.

– Слушаю-с! – и, поклонившись, Ушаков обратился к Шешковскому и снова сказал: – Запишите, как вы слышали.

Соболева увели часовые, и он послушно последовал за ними, совершенно бесстрастным и мутным взглядом смотря пред собой.

Протокол был написан Шешковским и подписан немцем Иоганном и генерал-аншефом Ушаковым.

– Я желал бы знать еще, – спросил Иоганн, – почему господин Жемчугов, который, кстати, находится здесь, принимал участие в спасении молодой девицы из горящего дома?

Митька встал в позу, как будто почтительную, но не лишённую известной доли комизма, и проговорил:

– Имею честь ответить, что если бы я не спасал девицы из горящего дома, то должен был бы отвечать по законам за неокказание помощи страдавшим, а по сему пункту я и спасал упомянутую девицу.

– А почему вы находились именно возле этого дома?

– Я думаю потому, что в это время именно этот дом находился возле меня.

– Но что вы там делали?

– Катался на лодке с моими друзьями и наслаждался тихим весенним вечером. Кажется, это никому не запрещено.

– О, да, это никому не запрещено! – согласился Иоганн, чувствуя, что все ответы Жемчугова были совершенно справедливы и таковы, что к ним придраться оказалось невозможным. Поэтому он решил покончить с допросом, простился общим поклоном и ушел, сказав: – Мы будем рассматривать это дело еще! Его нельзя оставить так.

Ушаков потянул носом табак и молча ушел в свой кабинет.

Шешковский кивнул на него головой и сказал Митьке:

– Я никогда не видал его таким.

– А что? – спросил Митька.

– Ужасно рассердился. В самом деле – генерал-аншефу сидеть с каким-то Иоганном по меньшей мере обидно.

– Да, кажется, герцог поступил нерасчетливо.

– Да разве он считается с кем-нибудь?.. Он на днях рассердился на скверную мостовую, так сказал сенаторам, что положит их самих вместо бревен.

– Но, знаешь, – сказал Жемчугов, вздыхая с большим облегчением, – я никак не ожидал, чтобы Соболев так хорошо разыграл роль сумасшедшего.

Шешковский поджал губы и спросил:

- А ты думаешь, он разыграл ее?
- А разве нет?
- Боюсь, как бы он на самом деле не свихнулся.
- А ведь в самом деле это может быть!..
- Ну, подождем, что скажет доктор.

XXXII. Доктор Роджиери

Пани Мария Ставрошевская с появлением у нее неизвестной молодой девушки, спасенной во время пожара заколоченного дома и принесенной к ней, совершенно изменила свой образ жизни. Она перестала принимать у себя, прекратила питье вина с гостями у себя на вышке в саду, все время проводила с «больной», как она называла молодую девушку, и не подпускала решительно никого к ней, кроме старика-доктора, которого в первый день привез князь Шагалов и который приходил затем два раза в сутки и аккуратно получал от Ставрошевской следуемую ему плату за визиты.

Изменив свой образ жизни и обратившись как бы в сиделку возле больной, пани Мария словно переменялась и по своему характеру, став из определенно-положительной, но вместе с тем кокетливо-завлекающей женщины рассеянной, нервной, потерявшей всю свою прежнюю повадку. Теперь она то задумывалась и становилась очень озабоченной, то, наоборот, раздражалась совершенно неожиданным смехом, даже когда была одна в комнате. Ее движения стали порывисты, она то и дело вскакивала и бежала к больной, точно боялась, что та уйдет или ее украдут, то снова выходила от нее, садилась за книгу или вышиванье, но сейчас же бросала занятие, начинала ходить по комнате, садилась за клавесины и старалась играть: однако, пальцы не слушались ее и из му-

зыки у нее ничего не выходило.

Больной она никому, кроме доктора, не показывала.

Грунька, пристально следившая за ней, конечно, не могла не заметить всего этого и не удивляться, что такое сделалось с пани.

В одну из таких минут, когда Ставрошевская сидела за клавишинами, явился лакей и доложил, что некий важный господин, приехавший в карете с двумя гайдуками, называющий себя доктором Роджиери, желает видеть ее.

При этом итальянском имени пани Мария встрепенулась и живо спросила:

– Ему сказали, что я не принимаю?

– Мы им докладывали... Ставрошевская притопнула ногой.

– Ведь раз навсегда я вам всем сказала, чтобы незнакомых никогда не принимать, если не будет отменено такое приказание.

– Мы им докладывали... – начал было объяснять лакей, но в это время в дверях появилась высокая фигура итальянца, с большими черными яркими глазами и черными же длинными выющимися кудрями, которые были так густы и пышны, что вполне заменяли ему парик.

Роджиери был в черном бархатном кафтане, одетом на белый атласный камзол, с кружевной горжеткой, где блеснул бриллиант. Черные шелковые чулки охватывали его мускулистые ноги с красиво округленными икрами, лаковые

туфли были на красных каблуках и с бриллиантовыми пряжками.

– Простите меня, – входя, заговорил он на хорошем французском языке, но с довольно явным итальянским акцентом, – простите меня, что я врываюсь к вам, до некоторой степени почти насильно; но я делаю это, во-первых, во имя науки, а во-вторых, в полном сознании того, что я вам не только не причиню никакого беспокойства, но, напротив, может быть, могу явиться полезным...

Однако Ставрошевская была не такой женщиной, чтобы смутиться даже и пред таким кавалером, каким казался на вид доктор Роджиери.

– Мы, женщины, – ответила она, – чужды науки и всякого учения... Мы требуем от мужчин одной только науки: умения держать себя!..

– Будьте покойны, сударыня, – возразил Роджиери, – и эта наука не чужда мне, и я готов доказать это, если ваша любезность допустит таковую возможность и вы позволите вашему покорнейшему слуге иметь счастье изъяснить пред вами его нижайшую просьбу...

Подобные высокопарные выражения служили в то время признаком отменно хорошего тона и произвели как будто впечатление на Ставрошевскую. Она как бы сказала сама себе: «А все-таки с воспитанным человеком приятно иметь дело!» – и, обратившись к лакею со словами: «Хорошо, ступай!» – спросила своего гостя:

– Что же вам угодно от меня?

При этом она знаком руки показала Роджиери на кресло и села сама.

– Прежде всего я был наслышан об удивительной вашей приятности и красоте, – заговорил он, – и явился воздать дань этим качествам одной из выдающихся женщин Петербурга.

Пани невольно увлеклась светским красноречием итальянского доктора, и волей-неволей у нее сама собой полилась речь ему в тон.

– Вы приписываете мне слишком много и тем задаете невыполнимую для меня задачу – оправдать пред вами те похвалы, которые заранее расточаете в мою честь! Но чем, собственно, могу я быть вам полезной в отношении вашей науки, о которой вы только что изволили упомянуть.

Доктор, поместившись в кресле так, что его посадка хотя и была скромна, но отнюдь не имела вида робости или смущения, стал объяснять:

– Дело в следующем: мне случилось осведомиться, что вами в дом принята неизвестная больная девушка, что доказывает, что ваши внутренние качества еще привлекательнее тех прекрасных внешних данных, коими Божественному Промыслу угодно было наградить и украсить вас...

– И все это, – улыбнулась пани Мария, – по поводу одной больной девушки, которую я приютила, вероятно, на несколько дней?

– Вот эта девушка очень интересуется меня, синьора Мария!..

– Интересует вас?

– Да, как страдающая весьма интересным недугом, с точки зрения медицины. Случаи летаргии очень редки, и, по-видимому, здесь, судя по рассказам, мы имеем один из них.

– Я, право, не знаю всех этих медицинских терминов и не могу сказать вам, летаргия ли это или продолжительный обморок, но мне искренне жаль молодую девушку, и я берегу ее, как умею.

– В этом отношении я хотел предложить вам, сударыня, свои услуги как специалист.

– О, благодарю вас! – живо перебила Ставрошевская. – Но я имею уже старого опытного врача, который пользуется больнойю.

– Но ради науки вы, надеюсь, все-таки не откажете в том, чтобы и я осмотрел ее?

Ставрошевская вздохнула и пожала плечами.

– К сожалению, больной прописан абсолютный покой, и я не имею права беспокоить ее.

Тут между доктором Роджиери и пани Марией Ставрошевской завязался как бы словесный поединок, в котором с крайним искусством и упорством итальянец настаивал на своем, а пани Мария так же искусно отклоняла его домогательства.

Наконец, по-видимому, убедившись, что решение не по-

казывать ему девушки у Ставрошевской непреклонно по своей твердости, Роджиери почти незаметно перевел разговор на другой предмет и стал рассказывать о прелести Италии необыкновенно певучим, вкрадчивым голосом, протянув руки слегка вперед и уставившись в упор на Ставрошевскую своими выпуклыми черными глазами.

– Конечно, Италия хороша! – сказала пани Мария. – Но я люблю больше Петербург.

– Почему же так? – удивился итальянец.

– Потому что здесь холоднее, кровь не так бурлит, и, вероятно, вследствие этого люди спокойнее и не так легко поддаются внушению.

Роджиери как бы изумленно дрогнул:

– Какому внушению?..

– А вот тому, что вы сию минуту хотите проделать надо мной!..

– Но почему вы так думаете?

– Не думаю, доктор, а знаю... в этом смысле я тоже посвящена в некоторые вещи и знаю, что один человек может заставить другого подчиниться себе даже на расстоянии, но для этого нужно, чтобы человек, подчиняющийся в первый раз, сам подчинился добровольно влиянию другого. Однако имейте в виду, что я не подчинюсь вам ни за что, сколько бы вы ни старались надо мной!..

Роджиери стал отнекиваться и, смеясь, говорить, что все это – пустяки и что всего этого не существует; но видно бы-

ло, что ему сильно не по себе; вскоре он, ничего не добившись, уехал, с трудом сдерживаясь, чтобы не выказать своей досады. Но он остался изысканно любезным до конца и простился, и откланялся вовремя, чтобы не надоесть и не рассердить своей назойливостью.

Вероятно, всякая другая пришла бы в восторг от доктора Роджиери, но Ставрошевская призвала своих гайдуков, разбранила их за то, что они пустили к ней неизвестного человека, и строго-настрого приказала им, если он придет еще раз, ни под каким видом не принимать его.

XXXIII. Помещица

Пани Ставрошевская жила в наемном доме, который нанимала у дворянки Убрусовой. Дом отдавался с мебелью. Прислуга у Ставрошевской тоже была наемная, то есть это были крепостные других господ, отпущенные на оброк.

Среди этой прислуги жили у пани двое крепостных, принадлежавших владелице дома, той же дворянке Убрусовой. Это были повар Авенир и горничная Грунька. Повар был мастером своего дела, а Грунька тоже была не совсем обыкновенной горничной.

Во владение дворянки Убрусовой они попали по более или менее случайному стечению обстоятельств.

У Убрусовой была родная сестра, бывшая замужем за князем Одуевым, который в молодости был послан Петром Великим за границу для приучения к тамошним порядкам. Многие из этих молодых людей, посланных царем Петром за границу, стали впоследствии деятельными его помощниками и работниками на пользу России, но было много и таких, которым заграничное пребывание пошло не впрок, потому что они вынесли из него одну только любовь к мотовству, щегольству и роскоши. В числе этих последних был и князь Одуев, вернувшийся из-за границы петиметром, расфуфыренным и расфранченным, бредившим Парижем и тамошней роскошною жизнью. Вернулся он в Россию лишь на

короткое время, нашел ее слишком варварскою для своей особы и отправился снова в Париж со своими дворовыми людьми.

Повар Авенир был у него на кухне вторым «шефом» и обучался приготовлению кушаний во Франции. Груньку князь Одуев отдал с малолетства, как стройную и смазливенькую девчонку, в учение в актерскую труппу, готовя из нее для себя, уже сильно пожившего тогда сатира, «прелестную» нимфу.

Однако денежные дела князя сильно расстроились. Он вынужден был для поправления их предпринять путешествие в Россию, и тут, в пути, когда во время грозы и ненастья у его дормеза сломалось колесо, он случайно попал к мелкопоместным дворяночкам, двум сестрам Убрусовым. Они отогрели и приютили его у себя, и ему показалось у них так хорошо, уютно и тепло по-семейному, что он тут же задумал соединить свою парижскую жизнь с этим семейным теплом и уютом.

Старшая сестра Убурсова была уже в зрелых годах, но младшая и по своим молодым годам, и по красоте была невестой хоть куда. Одурманенная мечтами о якобы сказочном богатстве князя, она, со своей стороны, не прочь была выйти замуж за него, несмотря на то, что он ей годился почти в отцы.

Сестры дружно и ловко окрутили князя, чему он, впрочем, поддался очень охотно, и он женился на младшей Убру-

совой.

Свадьбу справляли в деревне, а затем старшая Убрусова переехала на житье в Петербург и поселилась во флигеле одуевского дома на Невском; князь же и княгиня покатали в Париж, где вскоре Одуев скоропостижно скончался от удара, оставив свое имущество жене.

Какие-то родственники князя затеяли с нею процесс, но он ничем не кончился и только рассердил княгиню. Она из злобы к этим родственникам составила завещание в пользу своей сестры и только что успела сделать это, как ее понесли испугавшиеся лошади и разбили так сильно, что она скончалась, не придя в себя.

Вконец расстроенное состояние князя Одуева, конечно, не было приведено в порядок и его женой, так что в очистку после ее смерти ее сестре достались только дом в Петербурге с мебелировкой, да повар Авенир и Грунька, которую еще сама княгиня из актрисы и «нимфы» превратила в горничную.

Поддерживать для себя довольно большой дом у Убрусовой не было никакой возможности, и она сдавала его вместе с поваром и Грунькой внаймы, а сама продолжала жить во флигеле.

Деньги, получаемые ею за сдачу дома и за наем повара и Груньки, позволяли ей жить безбедно, тратиться на наряды, которые она любила, румяниться и белиться и ездить первого мая в наемной карете в Екатерингоф на происходившие там тогда смотрины невест, так как она еще не потеряла в

тайнике души надежды выйти замуж, не понимая, что она смешна и отвратительна этими своими претензиями.

Во флигеле при Убрусовой жила для услужения старуха, еще ее собственная крепостная, Мавра, ленивая и сварливая баба, вечно брызжавшая и клявшая все и всех.

Положение еще несколько осложнялось тем, что повар Авенир, человек уже довольно почтенный, был без ума влюблен в Груньку.

Искони ведется так, что повара-искусники, как вообще всякие артисты, непременно обладают какой-нибудь страстью. Одни предаются пьянству, другие имеют склонность к музыке и, например, рубя котлеты, выстукивают целые музыкальные мелодии, третьи предаются астрономии и умеют рассуждать о звездах, и, наконец, очень многие из поваров бывают влюблены, и почти всегда неудачно.

Авенир страдал по Груньке жестоко и решительно без всякой взаимности, хотя старался угощать ее лучшими кусками.

Но Грунька не только не обращала внимания на Авенира, но и лучшими кусками приготовленных им кушаний почти вовсе не интересовалась. Разве так, случайно, съест на кухне, что ей подвернется.

Наконец, доведенный до белого каления Авенир пришел к помещице, госпоже Убрусовой, с объяснением по поводу Груньки.

После надлежащего доклада, сделанного по всей форме

старухой Маврой, он был принят и, войдя, три раза поклонился в ноги, как этого требовал этикет у госпожи Убрусовой.

– Я к вашей милости, боярыня наша, Аграфена Семеновна, – начал он важно и с медлительной расстановкой.

Убрусову звали так же, как и Груньку, Аграфеной, и это случайное совпадение являлось для нее некоторого рода неприятностью, так что она всегда, когда ее называли по имени и отчеству, опускала глаза.

– Что тебе, Авенир? – спросила она.

– Я относительно крепостной девушки вашего сиятельства желаю доложить вам...

Авенир, привыкнув весь свой век служить у князя, продолжал титуловать «сиятельством» и свою новую госпожу.

Убрусова знала о чувствах, питаемых Авениром к Груньке, но в качестве сентиментальной старой девы каждый раз испытывала удовольствие от излиятий любящего сердца Авенира.

– Я ведь уже сказала тебе, Авенир, что подумаю и посмотрю! Конечно, я желаю, чтобы вы сочетались браком, но Грунька еще молода, и есть девушки, которые не выходят замуж, находясь и не в таких условиях, как она!

Госпожа Убрусова распространилась тут о своем взгляде на брак.

Авенир терпеливо выслушал все и, когда она кончила, проговорил:

– Мы вашим сиятельством довольны по гроб жизни и знаем, что судьба наша в ваших руках, но я хотел доложить сегодня насчет того, что эта самая Грунька... как бы так сказать вашему сиятельству?.. Ну, заводит шашни с неким кавалером дворянского сословия, господином Жемчуговым. По верной преданности вашему сиятельству, я выследил за ней и могу доподлинно засвидетельствовать, что их любовное соте-деликатес дошло до того, что Грунька по задворкам в соболевский сад к господину Жемчугову бегает.

Госпожа Убрусова сидела с застывшею улыбкой на устах и мечтательным взглядом.

– Да! – сказала она. – Я об этом знаю через Мавру! Хорошо, ступай!..

И, отпустив повара, Убрусова задумалась о том, что если поруководить как следует Грунькой, то она – девка такая, что обведет Жемчугова до того, что он пожелает жениться на ней, а тогда можно будет взять за Груньку хороший выкуп в несколько тысяч. При своей несомненной сентиментальности госпожа Убрусова была не лишена и практического расчета.

XXXIV. Сумасшедший или нет?

Положение Соболева беспокоило Митьку Жемчугова, и, конечно, он желал как можно скорее выяснить состояние его умственных способностей. Хорошо зная Ивана Ивановича, он не мог предполагать, что тот догадается представиться сумасшедшим для выхода из затруднительного положения, в которое поставили его обстоятельства. А потому естественно было прийти к заключению, что Иван Иванович действительно помешался в рассудке.

Но так как человек по большей части желает верить в то, что ему хочется, а Жемчугову хотелось, чтобы Соболев был здоров, то у него все-таки, несмотря на почти полную безнадежность, шевелилась еще надежда: авось, Ивана Ивановича осенила не по его разуму гениальная мысль.

Но теперь было трудно вступить в непосредственные сношения с Соболевым. В первый раз Жемчугову можно было сесть в один с Иваном Ивановичем каземат под видом тоже арестованного, но теперь Соболев видел Митьку в числе лиц, допрашивающих его, и это, несомненно, осложняло положение.

Кроме того, вступление бироновского Иоганна в дело создавало несомненное затруднение.

Сам Митька ничего придумать не мог. Шешковский тоже встал в тупик и не находил выхода.

Но Андрей Иванович Ушаков разрубил этот узел, правда, не распутав его.

Когда к нему явился Шешковский с вопросом, как поступить с Соболевым, генерал-аншеф, не остывши еще от гнева или, вернее, затаивший в себе этот гнев, посадил за стол своего секретаря и сказал ему:

– Пишите!..

После этого он продиктовал ему экстренный конфиденциальный рапорт его светлости герцогу Бирону.

В своем рапорте Бирону Шешковский подробно излагал весь допрос неизвестного человека, обвиняемого в поджоге, и добавил, что господин Иоганн приказал «отпустить» его, затем подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Между тем, злоумышленник являлся настолько важным, что отпускать его было безрассудно, а необходимо было содержать в самом строгом заключении, о чем генерал-аншеф и имел честь «всепреданнейше донести его светлости».

В то время как Шешковский писал под диктовку Ушакова этот рапорт, он уже понял, в чем дело.

Действительно, немец сказал, и это было занесено в протокол о допрашиваемом, «отпустить», подразумевая под этим – отпустить от допроса, но на принятом Тайной канцелярией языке это значило освободить от заключения, и формально Ушаков был совершенно прав, приводя в исполнение протокол, подписанный Иоганном, действовавшим по личному полномочию герцога.

Шешковский был не такой человек, которому нужно было втолковывать вещи, понятные для него с намека. Он написал рапорт, перебелил его, дал подписать генералу и только спросил:

– А с заключенным прикажете поступить по точному смыслу протокола?

– Что же делать! – пожал плечами Ушаков. – Я никогда не решился бы на это, но по настоятельному требованию уполномоченного герцога необходимо сделать так, как указано в протоколе. Мы должны исполнить. Но я против этого и вхожу, вы видите, по этому поводу с особым рапортом...

Шешковский не мог не удивиться поразительной находчивости Ушакова, и Жемчугов, узнав об этом, невольно проговорил:

– Аи молодец же твой генерал!.. Значит, Соболева можно выпустить?

– Хоть сейчас! – сказал Шешковский.

– Так что я могу даже взять его с собой?

– Может быть, лучше отправить его с надежным человеком?

– Да ведь у меня спит Пуриш! – вспомнил Митька. – А Финишевич соглядатайствует у дома! Лучше я Соболева проведу по задворкам, чтобы никто не видел его.

Шешковский отпустил Соболева, и Жемчугов привез его из Тайной канцелярии домой в карете Шешковского.

Иван Иванович, находясь в карете, не проронил ни слова,

сидел прямо, глядя пред собой в одну точку.

Митька только приглядывался к нему, боясь заговорить первый.

Они вышли из кареты у ворот дома, где жила пани Ставрошевская, и Жемчугов провел Соболева домой через сад прямо в его комнату.

Иван Иванович, очутившись у себя, произнес наконец свои первые слова:

– Есть хочу.

Проход принес ему щей, и Соболев принялся есть их с жадностью, снова продолжая молчать.

Жемчугов пошел посмотреть, что делает Пуриш; оказалось, он пребывал в сонном состоянии на том же самом месте, где оставил его Митька.

Убедившись, что со стороны Пуриша опасности никакой нет, Жемчугов вернулся к Соболеву и застал его растянувшимся, как он был одетым, на постели и спящим крепким сном после съеденной почти целой миски горячих щей.

Конечно, самое лучшее было дать выспаться Соболеву, дорвавшемуся наконец до своей постели и, вероятно, сильно утомленному.

Внешнему виду Соболева Проход не очень уж удивлялся, потому что в холостой жизни молодых людей того времени бывали всякие переделки, и Проход, ничего не зная еще о серьезности положения своего барина, не имел причины беспокоиться.

В ином положении находился Жемчугов. Самое важное для него не было выяснено, да и он сам как будто отстранял от себя это выяснение из боязни, что вдруг оно выяснится в неблагоприятном смысле.

Собственно говоря, поведение Соболева было таково, что не оказывалось никакой возможности судить по нем о чем-либо. И молчать, и попросить есть, и заснуть затем мог совершенно одинаково как сумасшедший, так и человек, находящийся в здравом уме.

Жемчугов оставил его пока в покое, а сам отправился снова к Пуришу, научив предварительно Прохора тому, что тот должен сделать.

Митька сел против Пуриша, положил обе руки на стол и опустил на них голову. Тогда явился наученный им Прохор и стал будить Пуриша, тормоша его. Пуриш очнулся не сразу, а когда очнулся, то увидел пред собой спящего Жемчугова.

– Э-э, мы, кажется, немножко вздремнули! – развязно сказал он Прохору и принялся будить Митьку.

Тот долго не просыпался.

Пуриш начинал уже терять терпение, но наконец добился своего и был твердо уверен, что вернул снова к действительности заснувшего вместе с ним Жемчугова.

– Ах, это – ты! – открывая глаза, сказал Митька. – Знаешь, что я сейчас во сне видел?

– Что? – спросил Пуриш.

– Что ты умный, а я – дурак.

– Ну, что ж, – сказал Пуриш, которому, видно, этот сон Митьки понравился.

– А то, что сны всегда бывают наоборот тому, что на самом деле!

Пуриш не обиделся, обратил дело в шутку и предложил Жемчугову:

– Знаешь, поедem развлечься! Хотя бы в трактор, что ли?..

– Эк, дался тебе этот трактор! – усмехнулся Митька, но на этот раз согласился ехать.

Они поехали, затем через некоторое время явился к ним Финишевич; они пили, Митька опьянел раньше их и стал буйнить, так что им пришлось отвезти его домой и уложить там.

XXXV. Что было с Соболевым

Как только Финишевич с Пуришем уехали, привезенный ими к себе домой как пьяный Митька встал, как встрепанный. Он и не думал быть пьяным, как и вообще не бывал никогда, а только представлялся, прикрывался, когда это было нужно, своим пьянством и разгульным поведением, благодаря которому никто не считал его способным на серьезное дело, хотя именно потому-то он и делал серьезные дела.

– Ну, что? – спросил он у Прохора. – Иван Иванович встал?

– Проснулись. Приказали баню истопить и изволили вымыться! – ответил Прохор.

Это был уже вполне разумный поступок, и Митька обрадовался.

– Кто ходил с ним в баню?

– Я-с! – ответил Прохор.

– Он разговаривал?

– Разговаривали. Спрашивали о вас, велели сказать им, когда вы вернетесь, а, кроме вас, никого к себе пускать не велели и всем отвечать приказали, что дома, мол, их нет!

Опять это было совершенно разумно, и Жемчугов обнадежился совсем.

– Ну, как ты себя чувствуешь? – спросил он у Соболева, входя к нему.

Тот, вымытый, причесанный и выбритый, сидел ипил горячий пунш.

– Ничего! – ответил он. – Разбит я весь и изломан.

«Ну, слава Богу! – подумал Митька. – Он, кажется, совсем здоров!»

– Да, брат, такую передрягу вынести! – сказал он, не вполне еще, однако, уверенный.

– А хорошо я себя держал в канцелярии? – спросил Соболев.

– Держал ты себя великолепно! – проговорил обрадованный Жемчугов, убедившись, что умственные способности Ивана Ивановича не повреждены. – Да кто тебя надоумил?

– Прикинуться дурачком?

«Это он прикидывался дурачком! – мысленно усмехнулся Митька. – А вышло у него совсем похоже на сумасшедшего».

– Ну, да, да! – подтвердил он вслух.

– Ну, а что мне было делать? С одной стороны, я видел опять прежних за столом и ты тут сидел, а с другой – этот картавый немец со своим железным кольцом.

– Я тут сидел по знакомству с тобой! О нашей дружбе узнали по первому делу, по которому нас обоих выпустили.

– Да ведь я сам ушел, по твоей записке!

– Ну, да, все это надо было так сделать по особым соображениям! – многозначительно подмигнул Митька и, понизив голос, добавил: – Шешковский, секретарь начальника, который тебя допрашивал, – мой родственник; вследствие этого

с тобой и обходились не так, как с другими.

– Да зачем тут родственники и какие-то исключения, если я ни в чем не виноват?! – начал было Соболев.

– Ну, да! Мы и докажем твою невиновность. Но вместо того, чтобы сидеть тебе в каземате, пока мы сделаем это, мне кажется, лучше, что ты сидишь дома и пьешь пунш! Да ты и сам это понимаешь, потому что отлично представился дураком, когда это было нужно.

– Да, видишь ли, – наивно пояснил Соболев, – мне это очень легко было, потому что у меня действительно в голове все путалось! Я тогда не мог хорошенько отдать себе отчет, что это происходило на самом деле или во сне, и был точно в бреду. Когда я нес околесицу, то меня словно подмывало что, а вот возьму, да и скажу так...

– Да что с тобой было на самом деле?..

– Нечто невероятно странное! Тоже как будто сон. Когда меня перевели в другой каземат и я нашел там твою записку... ведь это ты написал мне записку?

– Да, да, я... мне велел это сделать мой родственник Шешковский.

– Ну, вот... я сначала не хотел уходить, но потом так как-то вышло... Ну, я выбрался из каземата на пустырь и затем стал пробираться закоулками, как вдруг, можешь ты себе представить, увидел, что навстречу мне идет она...

– Кто? – переспросил Жемчугов.

– Она... та, которую я видел тогда в саду... Понимаешь

ли, идет задыхаясь, скорыми шагами, с непокрытой головой и без верхней одежды, так, как я видел ее в первый раз... А я, чтобы не странно было, что иду без шапки и в растерзанном виде, стал пошатываться, как будто был не в себе. Она, встретившись со мной, должно быть, испугалась меня и метнулась в сторону. Можешь ты себе представить, что я почувствовал в это время! Она, за которую я был бы рад всю жизнь свою отдать, она боялась меня!.. Ну, я так и сказал ей, что я готов за нее отдать жизнь и что ей бояться меня нечего, а, напротив, стоит ей лишь приказать – и я все сделаю, что она пожелает... Должно быть, я сказал это так просто и искренне, что она мне поверила. Впрочем, она сказала, что ей так тяжело, что, что бы ни случилось, ей все-таки будет лучше. Ей надо было пробраться в Гродно, далеко ли это или близко – она не знала.

Я поклялся ей, что доставлю ее в Гродно, как она хочет, что я – вовсе не такой, каким можно счесть меня по виду, что этот вид – случайность, что я – дворянин и что, если она позволит, я стану ее рыцарем... Я просил ее осчастливить мой дом переходом в него, чтобы скрыться в нем, и обещал, что в тот же день я и мои друзья не только помогут ей уехать из Петербурга, но и будут сопровождать и оберегать ее до Гродно... Понимаешь, я рассчитывал на тебя, на князя Шагалова, на Сеницына. Ей как будто все это очень нравилось. Откуда, как и почему она должна была скрываться и зачем ей нужно было непременно попасть в Гродно, я не мог спро-

свить ее, потому что это было бы с моей стороны навязчивостью! В общем ведь я знал, что она – жертва герцога Бирона, и считал долгом дворянина помочь ей освободиться.

Она пошла за мной, но затем вдруг, совершенно внезапно, повернула и направилась назад в противоположную сторону еще с большею поспешностью, чем шла прежде!.. Я кинулся за нею, стал спрашивать, что случилось? Она не ответила мне и подвигалась так быстро, точно хотела убежать от меня. Тогда я подумал, что ее смутил мой непрезентабельный вид и что ей стыдно идти вместе со мной по улице! Я немного отстал и начал следить за нею, во-первых, чтобы знать, куда она направляется, а во-вторых, чтобы оберечь ее хотя бы тут, на улице, от каких-нибудь наглецов или пьяных.

Она шла, все ускоряя шаги, миновала деревянный мост через Фонтанную, смело, не боясь пустынной местности, пошла слободой и достигла наконец высокого тына своего сада. В тыне я заметил отворенную калитку, и у этой калитки стоял высокий человек в черном бархатном одеянии, с черными пышными кудрями и большими темными, как агат, глазами, в которых был какой-то странный не то блеск, не то что-то иное, притягивающее и властное... Он стоял с вытянутыми вперед по направлению к нам руками; я подбежал к нему почти вслед за нею.

– Что тебе надо? – спросил он меня, с трудом выговаривая слова по-русски.

Ясно было, что он – иностранец, и я ответил ему на фран-

цузском языке, что дал слово оберегать молодую девушку и никому не позволю обидеть ее. К моему удивлению, он рассыпался в благодарностях и тоже на французском языке объяснил, что это составляет и его цель. Он пригласил меня войти в калитку, куда только что прошла она, и я не заставил его повторить приглашение, потому что последовал бы за нею и в самый ад. Иностранец запер за нами калитку, повел меня в дом и там пропустил меня вперед в сени, но, только что я ступил туда, как свалился в люк подвала. «Баста!» – сказал надо мной голос иностранца, и крышка люка захлопнулась наверху.

Упав в подвал, я не расшибся, потому что на полу было набросано много соломы. Я стал кричать, биться, но все было напрасно. Сколько времени я провел в подвале, не знаю, но помню треск и шум пожара, очевидно, завалившего подвал, а затем меня нашли там и привели обратно в Тайную канцелярию. Дом сгорел, и что случилось с моей богиней, я не знаю!

– Я могу сказать тебе, что во время пожара мы случайно находились возле этого дома! – сказал Жемчугов и добавил, чтобы было правдоподобнее для Ивана Ивановича: – Мы там искали тебя, потому что думали, что, наверно, ты бродишь там...

– Ну, и что же?

– Мы спасли молодую девушку из огня, и она находится теперь в полной безопасности.

– Да неужели?.. Милый, спасибо! – воскликнул Соболев и бросился обнимать Митьку. – Так, значит, я могу исполнить данное ей обещание и доставить ее в Гродно?

– Но в отношении тебя, – остановил его пыл Жемчугов, – надо еще подумать, как нам быть! Впрочем, во всяком случае, другой роли, кроме рыцаря своей девицы, тебе не предстоит.

XXXVI. Иоганн имеет причины сердиться

Отвезя из трактира Митьку Жемчугова домой, Финишевич с Пуришем отправились к Иоганну.

Бироновский немец в общем был доволен, что настоял пред герцогом на том, чтобы ему было дозволено присутствовать на допросе в Тайной канцелярии.

Это оказалось очень полезно, потому что он узнал в захваченном того самого молодого человека, который вскочил к нему в лодку, а давно подозрительный ему своими действиями Жемчугов оказался агентом Ушакова.

Иоганн был доволен своей предусмотрительностью, то есть тем, что поставил соглядатаев к этому ушаковскому агенту, и теперь ждал их, чтобы проверить, насколько основательно они следили за ним.

Пуриш с Финишевичем явились поздно вечером, и Иоганн встретил их вопросом:

– Все в порядке?

Однако, потянув носом, он заметил, что от них сильно пахло вином, и это сразу заставило его усомниться, действительно ли все в порядке.

– О, да! – сказал Пуриш. – Мы замечательно тонко и умно распределили роли, чтобы следить за так называемым Мить-

кой Жемчуговым. Я вошел к нему в дружбу и сразу стал на приятельскую ногу, а мой товарищ образовал внешнее наблюдение.

– Это был мой план! – сказал Финишевич.

– То есть этот план придумал я! – подхватил Пуриш.

– Ну, это мне все равно! Мне важны результаты! – проговорил Иоганн. – А какие у вас результаты?

– Результаты те, что мы весь день провели, ни минуты не выпуская Жемчугова из глаз!

– Ну, и что же он делал?

– Сначала он пил со мной у себя дома, – сказал Пуриш, – а потом, вечером, мы поехали в трактир и там пили...

– Ох, что вы пили, это я вижу! – вздохнул Иоганн.

– Нельзя же, господин Иоганн! Мы для пользы дела! – скромно заметил Финишевич, расправляя рыжие усы.

– Значит, по-вашему, Жемчугов никуда не отлучался от вас?

– Никуда! – с уверенной твердостью произнес Пуриш. – Целый день я с ним сидел у него дома, и только вечером мы вместе с ним поехали в трактир.

Иоганн перевел взор на Финишевича.

– Это безусловно верно! – подтвердил тот. – Я все время стоял у дома и могу засвидетельствовать, что никто оттуда не выходил.

– Негодные пьяницы! – закричал Иоганн и топнул ногой. – Наглые обманщики и воры!.. Даром берете только деньги и

обманываете, ничего не делая и пьянствуя!

– Но мы клянемся вам, господин Иоганн... – начал было Пуриш.

Но Иоганн не дал договорить ему.

– Вы клянетесь, пьяные ваши головы!.. Вы клянетесь, что этот Жемчугов не выходил из дома, а я сам с ним сидел в Тайной канцелярии за одним столом!

– Не может быть! – в один голос воскликнули Финишевич и Пуриш.

– Вы еще осмеливаетесь спорить! Убирайтесь сейчас же вон и больше не смейте приходиться ко мне!..

И, прогнав от себя Пуриша с Финишевичем, Иоганн потерял свое хорошее расположение духа, и всякий, даже глядя со стороны, должен был бы признаться, что бироновский немец имел причины, чтобы сердиться. Он платит герцогские деньги, а эти наглые, глупые люди пропивали их, да еще лгали ему в глаза, точно он был маленький ребенок.

И сейчас же, как будто еще для вящего подтверждения того, что Иоганну есть на что сердиться, для него случилась еще неприятность, и большая, крупная: его позвали к герцогу наверх.

Герцог, только что вернувшийся из большого дворца, ходил большими шагами по своему кабинету, когда вошел к нему Иоганн. На письменном столе лежали полученные в сегодняшний вечер и только что распечатанные Бироном бумаги и письма. При виде Иоганна герцог взял одну из них и

сунул ему почти в самое лицо.

– Что это такое? Что это такое? – несколько раз переспросил он. – Вы моим именем распорядились отпустить поджигателя?! Читайте, что пишет Ушаков!..

Иоганн прочел рапорт Ушакова.

– Ну, да! – сказал он. – Я думал отпустить его от допроса.

– Но на официальном языке это значит отпустить совсем домой.

– Но я не знаю, ваша светлость! Я говорил вообще на русском языке.

– Вы на русском языке говорите, как лошадь! Сами они объяснялись по-немецки.

– Впрочем, ваша светлость правы! – проговорил Иоганн. – На этом варварском языке могут разговаривать только лошади.

– Пошлите немедленно за Ушаковым! Я желаю видеть его сейчас же, а пока ступайте.

Иоганн удалился с подавленным чувством глубоко оскорбленного самолюбия. Никогда еще в жизни Бирон не говорил с ним так.

Между тем герцог, отослав Иоганна, отворил дверь в соседнюю с кабинетом комнату и сказал:

– Войдите, доктор!

Высокий черный Роджиери показался в дверях, отвесил поклон герцогу, выпрямился, поднял плечи и широко развел руками.

– Я теряюсь в догадках! – заговорил он по-немецки довольно правильно, но с таким же акцентом, как и по-французски. – Я не могу пока ничего придумать. Ваша светлость видели мою силу над этой девушкой. Когда она третьего дня убежала через случайно оставшуюся не запертой калитку в ограде сада, я вернул ее, подействовав на нее на расстоянии, и она, послушная моему внушению, пришла назад, подчиняясь моей воле. Однако теперь мое внушение не действует, несмотря на то, что я несколько раз принимался делать его. Мало того: я сегодня сам был в том доме, где она... у пани... пани...

– Ну, все равно... этой польки!.. Как ее там зовут – безразлично! – сказал в нетерпении Бирон.

– Я был там, в этом доме, – повторил Роджиери, – пробовал воздействовать на самое польку, но она не поддавалась мне; точно так же осталось безрезультатным мое приказание Эрминии, чтобы она вернулась, куда я ей приказываю.

– Так что вы положительно потеряли надежду, чтобы она послушалась вас, как тот раз, на расстоянии, и пришла бы к вам добровольно?

– Просто не знаю, что и подумать, ваша светлость, но, по видимому, должен отказаться!.. Может быть, ее уже нет в Петербурге! Может быть, ее увезли, и полька обманывает, что она у нее!

– Ну, куда же могли увезти ее? Да и с какой стати? Ну, что же, если вы не можете употребить над нею свою сверхчело-

веческую власть, я попробую пустить в ход свою власть простого смертного, кабинет-министра!.. Вам придется заявить официально, что это – ваша воспитанница, и потребовать ее к себе!

– Но, ваша светлость, тогда придется же объяснять, почему она жила в заколоченном доме, скрываемая ото всех!

– Пустяки! – сказал Бирон. – Кому вам придется объяснять? Вы подадите просьбу мне лично, и я без всяких объяснений прикажу исполнить!

– Но, ваша светлость, если Эрминия к этому времени очнется, ведь она заявит, что никогда моей воспитанницей не была и что добровольно не хочет идти ко мне!

– Ну, так тогда, – топнув ногой, крикнул Бирон, – ее возьмут и привезут к вам насильно!.. Она должна быть, во что бы то ни стало, завтра же возвращена мне, потому что я этого хочу.

– Но что станут говорить в городе? – попытался было возразить Роджиери.

Герцог вскинул руками и решительно тряхнул головой:

– А не все ли равно мне, что будут говорить в городе или где бы то ни было! Я так хочу, и это так будет!.. А тем, кто посмеет сказать что-нибудь против, я велю вырвать язык! Вот и все!.. Эрминия должна быть возвращена!..

– Генерал Ушаков приехал, ваша светлость! – доложил Иоганн, появляясь в дверях.

– А-а, вот! Хорошо, по крайней мере, что недолго застав-

ляет себя ждать! Его-то мне и нужно. Позвать его сюда!

Ушаков вошел со спокойною учтивостью, не лишенною даже изящества, которым Андрей Иванович, впрочем, отличался всегда.

– Вот, – показал Бирон на итальянца Роджиери, – воспитатель той молодой девушки, которую вытащили тогда из огня.

Ушаков слегка поклонился.

– Я приказываю вам, – продолжал герцог, – чтобы завтра же молодая девушка была доставлена...

– Во дворец вашей светлости? – спросил Ушаков. Бирон недовольно фыркнул носом.

– Почему ко мне во дворец? Что за вздор!.. Ее надо доставить к ее воспитателю, доктору Роджиери!

– И это особенно будет удачно, ваша светлость, – подхватил Ушаков, – ведь молодая девушка, как известно, находится в летаргическом обмороке, и доктор Роджиери, вероятно, своими заботами воскресит ее, так что именно следует отправить ее к нему на излечение.

– Ну вот, вот так, на излечение! – повторил несколько раз Бирон, видимо, довольный этим соображением. – А скажите, пожалуйста, генерал, где этот поджигатель?

– Это – тот человек, ваша светлость, который был найден в подвале? Он допрошен в присутствии господина Иоганна!

– Этот человек в подвале никак не мог быть поджигателем! – вмешался в разговор Роджиери. – Во имя справедли-

ности я должен засвидетельствовать, что в подвал запер его
я гораздо раньше, чем случился пожар.

XXXVII. Продолжение предыдущей

– Вы изволите свидетельствовать, – сказал Ушаков итальянцу Роджиери, – что заперли этого человека в подвал задолго до пожара и что поэтому он не может быть поджигателем?.. А позвольте узнать, почему вы изволили запереть человека в подвал и какими законами руководствовались вы? Ведь, насколько мне известно, ни в русском кодексе, ни в итальянском нет такой статьи, которая позволяла бы делать это?

Несмотря на столь резко поставленный вопрос, Роджиери не смутился и только дольше остановил свой агатовый взгляд на лице генерал-аншефа.

– Я действовал, – нисколько не смущаясь, ответил он, – в пределах самозащиты.

– Но в таком случае, доктор, – мягко возразил Ушаков, – вы, посадив русского подданного, а, может быть, и дворянина в подвал, должны были немедленно дать знать о том властям!

– Но сейчас не в этом дело, генерал! – проговорил Бирон, явно приходя доктору на помощь, так как разговор начинал принимать не совсем благоприятный оборот для Роджиери.

– Это был, очевидно, злоумышленник! – сказал Иоганн,

который остался у дверей и присутствия которого никто не заметил.

– Злоумышленник? – переспросил герцог.

– О, да, ваша светлость!.. Сегодня на допросе я видел его, и это оказался тот самый, который обманом прыгнул ко мне в лодку.

Это показание Иоганна как будто дало разговору другое направление.

– Как же его зовут? – спросил герцог, обращаясь к Ушакову.

– Он своего имени не назвал, – пожал плечами Ушаков. – Он был, как помешанный!

– Но он должен был, – опять вмешался Иоганн, – назвать свое имя, когда его допрашивали в первый раз за то, что он вскочил ко мне в лодку! Тогда ведь он был в здравом уме.

– Надо посмотреть в протоколе; так я не помню! – сказал Ушаков.

– Но где он теперь? – опять спросил Бирон.

– Отпущен, ваша светлость, по распоряжению господина Иоганна.

– Но вы знаете, где он?

– Об этом господин Иоганн распоряжения не сделали!

– Да кто вам велел слушаться господина Иоганна, если господин Иоганн делает глупости! – воскликнул герцог, не щадя самолюбия своего доверенного.

– Господин Иоганн действовал по приказанию вашей

светлости, имея подлинную доверенность на письме! Иначе я, конечно, никогда не согласился бы посту пить по его указанию! – деловито и уверенно произнес Ушаков.

– Но я же никогда не говорил... – начал было оправдываться Иоганн.

Однако Бирон не дал договорить ему:

– Молчи! Довольно!.. – крикнул он Иоганну и обратился вновь к Ушакову: – Чтобы завтра же этот человек был найден! Это я вам приказываю самым настоятельным образом! Никаких отговорок я слушать не буду!.. Человек должен быть найден завтра же, и завтра же утром вы доставите доктору Роджиери молодую девушку, которая находится теперь у польки...

– Ставрошевской! – подсказал Ушаков.

– Мне все равно, как ее зовут, но чтобы девушка была доставлена доктору!

– Слушаю-с! – коротко ответил Ушаков.

– Можете идти! – сказал ему герцог. Генерал-аншеф удалился, прижимая, по тогдашнему этикету, свою треугольную шляпу к груди.

От герцога Ушаков прямо отправился в Тайную канцелярию, где и день и ночь шли «занятия» и где уже должен был быть Шешковский.

И в самом деле, последний ждал генерала, читая бумаги при свете сильно трещавшей сальной свечи, потому что ни восковых, ни масла для ламп тогда в канцеляриях не пола-

галось. Шешковский знал, что генерал экстренно вызван к Бирону, и догадывался, по какому делу.

При первом же взгляде на Ушакова он увидел, что тот был доволен тем, что произошло у герцога.

– Приказано, – сообщил Ушаков, – отпущенного от допроса человека найти к завтра во что бы то ни стало, а девушку отвезти к доктору Роджиери. Поезжайте немедленно и сделайте все нужные распоряжения!

– Но, ваше превосходительство, если Соболев уже успел скрыться?..

– Кто такой этот Соболев?

– Тот, у кого в доме живет Жемчугов.

– Я не знаю никакого Соболева; мне нужно, чтобы, по приказанию герцога, был найден неизвестный человек...

– Ну, а если молодая девушка исчезнет?.. Ведь все может быть, ваше превосходительство!

– Мало ли что может быть! – сказал Ушаков. – Все предвидеть нельзя.

Этих слов было достаточно для Шешковского, чтобы он знал уже, как действовать.

XXXVIII. Действо разгорается

Шешковский сел в карету и отправился в дом Соболева, к Митьке Жемчугову.

Пропуск у него через рогатки, которыми тогда закрывались улицы на ночь, был беспрепятственный, и он легко добрался, куда ему было нужно.

Шешковский вообще очень редко бывал у Жемчугова, а если и бывал, то переодетым так, что его нельзя было узнать, и потому его появление теперь, да еще поздно вечером, почти ночью, после того как Митька долгое время сидел у него в канцелярии, вызвало у Жемчугова серьезное беспокойство.

– Соболев спит? – спросил Шешковский, входя.

– Да. Он только что рассказал мне все, что с ним было, и опять, кажется, заснул. А у тебя есть что-нибудь важное?

– Да то, что следовало ожидать: Бирон только что вызывал генерала к себе и приказал отпущенного от допроса человека во что бы то ни стало найти, а молодую девушку завтра же доставить к доктору Роджиери, этому итальянцу, который недавно появился у нас.

– Значит, девушка-то имеет соотношение и к итальянцу! Это надо заметить... Ну, как же теперь быть?.. Даны генералом прямые указания?..

– Нет, тут надо что называется «понимать масть». Впро-

чем, в отношении девушки ясно сказано, что с нею «все может быть»...

– Так!.. Но постой: ведь надо выяснить, что, собственно, должно случиться с нею, чтобы это было в интересах...

– Справедливости! – коротко сказал Шешковский.

– Ну, вот в интересах справедливости желательно ли, чтобы она попала снова в такие условия, при которых герцог имел бы к ней доступ?

– Разумеется, ибо только на этом государыня может убедиться, какова его преданность!

– А для того, чтобы она могла убедиться в этом, надо сделать так, чтобы доступ Бирона к девушке происходил под нашим наблюдением.

– Конечно, для него тайным.

– Не только для него, но и для всех других. Теперь, если отвезти девушку к доктору Роджиери, то этот итальянец сумеет или совершенно укрыть ее от нашего наблюдения, или, во всяком случае, сделать его затруднительным.

– А потому молодую девушку надо обставить так, чтобы герцог мог видеть ее, но чтобы она не была у доктора Роджиери. Это – первая задача. Теперь относительно Соболева.

– Ну, с этим легче! Он оказался находчивее, чем можно было ожидать: сумасшедшим он прикинулся. Словом, с ним будет легко...

– Нет, именно с ним дело гораздо сложнее, – возразил Шешковский. – Велено найти человека...

– Ну, что же, разве нельзя найти человека помимо Соболева? Ведь сам же ты...

– Да в том-то и беда, что картавый немец знает Соболева в лицо!..

– Да, мы с тобой, кажется, так запутались, что никто и распутать не сможет!

– Видишь ли, – ответил Шешковский, – я думаю, что нам никого и не нужно, авось, сами справимся! Ну, в крайнем случае генерал укажет!

– Мне кажется, что все-таки придется на некоторое время скрыть из Петербурга девушку так, чтобы ее никто не мог достать, а в это время постараться удалить итальянца Роджери и, когда его здесь не будет, вернуть девушку опять, выказав таким образом преданность пред герцогом Бироном, и тогда он сам пойдет в ловушку.

– Так что во всяком случае первое, что придется сделать, – скрыть девицу?

– Безусловно.

– Но куда ты скроешь ее? – спросил Шешковский.

– Еще не знаю, но чувствую, что что-то тут можно сделать.

– Хорошо! А я чувствую, что могу взять на себя Соболева.

– И тоже спрятать его?

– Да, вообще уладить все в отношении его!

– Ну, хорошо! Так и разделимся: я возьму на себя молодую девушку, – решил Жемчугов, – кстати, мне у пани Ставрошевской и орудовать легче; а ты займись Соболевым. Но

только надо действовать, не теряя времени! Ведь у нас всего только ночь в нашем распоряжении, а завтра к утру все должно быть сделано!..

– Тогда ты отправишься сейчас к Ставрошевской, но для того тебе надо будет поднять весь дом у нее.

– Не бойся! У меня есть помощник!

– Помощник?..

– А вот сейчас узнаем, тут ли он! – и Жемчугов, взяв свечку, пошел к себе в комнату, сказав Шешковскому, чтобы он оставался у двери и не выходил.

Как только комната Митьки осветилась, в оконное стекло зашуршал песок, в первый раз осторожно, а затем резко, очевидно, брошенный во второй раз в нетерпеливой досаде.

– Ага! Ты здесь! – проговорил Жемчугов, подошел к окну, поднял его и, высунув голову в сад, сказал: – Грунь!

– Ты чего же это, идол, не идешь? – заговорил из сада голос Груньки.

– Молчи, глупая!.. Тут, брат, важное дело. Поди сейчас же к пани Марии; если она спит, то разбуди ее и скажи, что мне нужно немедленно видеться с нею, так чтобы ты провела меня тихонько к ней и никто этого не знал и не видел. Да скажи ей от меня: «Струг навыверт», и чтобы она не артачилась. Ну, беги!.. Говорят тебе, беги, дело важное. Я сейчас за тобой к вам, к заднему крыльцу, подойду. Ты туда спустишься ко мне с лестницы и дверь мне отворишь.

Грунька, очевидно, хорошо вымуштрованная Жемчуго-

вым, немедленно послушалась, раз речь шла о серьезном деле, и в саду немедленно затих ее удаляющийся шорох.

Жемчугов опустил окно и сказал Шешковскому:

– Ты слышал?

– Одно слово, везет тебе! – проговорил тот. – Недаром я всегда говорю, что у тебя удивительное счастье на удачу!

– Ну, вот я на него-то и рассчитываю! Потому и говорю, что чувствую, что у меня выйдет.

– Надо, чтобы вышло! – серьезно сказал Шешковский. – Потому что такого серьезного дела у нас никогда еще не было. Ведь если оно нам удастся, то мы освободим Россию от временщика!

– Аминь! – сказал Жемчугов. – Ну, я иду. А ты делайся, как знаешь, с Соболевым! – и Жемчугов, захватив шапку, плащ и шпагу, не без труда вылез в маленькое окно и исчез в чаще сада.

В это время в доме герцога доктор Роджиери, Иоганн и сам Бирон совещались, приводя в известность открывшиеся им обстоятельства.

Самым важным из этих обстоятельств казалось им то, что в человеке, которого нашли в подвале и который был заперт туда доктором Роджиери, потому что пришел вслед за Эрминией, Иоганн узнал того самого «наглеца», как он выражался, который вскочил к нему в лодку. Это доказывало, что за Эрминией следили. А так как в Петербурге, вероятно, никто и не подозревал о ее существовании, то было правдоподобно

и даже весьма вероятно, что следили за ней из самой Гродны, и этого человека надо было во всяком случае допросить подробно, чтобы установить его связь с Гродной.

Роджиери, со своей стороны, доказывал герцогу, что если его светлость не боится никаких толков и пересудов, потому что находится выше всякой молвы, то он, бедный доктор, зависит всецело от общественного мнения и для него будет очень прискорбно, если его имя будет соединено молвой с какой-то неясной историей, где страдательным лицом является молодая девушка, к которой, вероятно, будет возбуждено общее сочувствие.

Но Бирон ни о чем не хотел слышать и упрямо настаивал на своем, говоря, что желает этого, и уже раз дал какое-либо приказание, отменять его никогда не отменяет.

И вот, после долгих напрасных убеждений и даже просьб, Роджиери решился еще раз испытать свою силу над Эрминией и сделать последнее усилие, отправившись к дому, где жила Ставрошевская, чтобы там вызвать ее посредством внушения на расстоянии к себе на улицу.

Для того, чтобы ему беспрепятственно пройти уличные ночные рогатки, его вызвался проводить имевший ночной пропуск Иоганн.

XXXIX. Порченная

Когда Жемчугов подошел к заднему крыльцу дома, где жила Ставрошевская, Грунька уже ждала его у дверей и повела его к барыне, которая не ложилась еще в постель, потому что с тех пор, как у нее в доме была больная, она не спала ночью, а все время тревожно прислушивалась и только урывками, самое большое на полчаса, забывалась сном, сидя в кресле.

– Ты у меня смотри! – шепнула Грунька на ходу на лестнице Жемчугову. – Если станешь на пани засматриваться...

– Брось, глупо... – остановил ее Митька. Грунька погрозила ему пальцем и еще тише сказала:

– Все-таки теперь ночь! Ты это помни.

Пани Мария приняла Жемчугова в гостиной, где стояли клавесины, вполне официально, сразу взяв совершенно деловой тон.

Жемчугов сказал ей, что есть в Петербурге итальянец Роджери, доктор.

– Он у меня был! – вставила Ставрошевская. – И хотел осмотреть больную, но я не позволила этого.

– Ну, а теперь он хочет, чтобы завтра утром ему отвезли ее хотя бы насильно.

– Но это нельзя сделать, ради Бога, нельзя допустить это! – забеспокоилась пани Мария. – Надо сделать все возможное,

чтобы она осталась у меня!

– Я тоже так думаю, – сказал Жемчугов, – и для этого необходимо увезти ее завтра же.

– То есть, позвольте, как же это так? – удивилась Ставрошевская. – Вы согласны, чтобы она осталась у меня?

– Совершенно верно!

– А сами говорите, что нужно завтра же увезти ее от меня!

– Именно для того, пани Мария, чтобы она осталась у вас впоследствии, надо увезти ее как можно скорее, иначе завтра, по распоряжению герцога, ее насильно отвезут к доктору Роджиери.

– Значит, и герцог замешан здесь?

– Да, он уже отдал приказ, и этот приказ должен быть исполнен завтра.

– Бедная Эрминия!.. Против нее ополчились не только оккультные силы, но и предрержащая власть, которая, напротив, должна была бы защитить ее!

– Что вы сказали? – удивился Жемчугов. – Какая Эрминия? Разве молодую девушку зовут Эрминией?

Пани Мария спохватилась, но уже было поздно. Явное смущение отразилось на ее лице.

– Почему вы знаете, как зовут молодую девушку? – продолжал между тем расспрашивать Жемчугов.

Ставрошевская волей-неволей должна была ответить.

– Она очнулась, – сказала она, – и назвала себя.

– У нее прошел ее обморок?

– Это был вовсе не обморок, а летаргический сон.

– Все равно!

– Нет, не все равно. От обморока может избавить так называемая официальная медицина, а от этого летаргического сна – нет... Тут нужны другие познания... надо знать причину сна.

– А вы знаете? Пани Мария молчала.

– Говорите все! Нам нельзя терять время, если не хотите, чтобы девушка была возвращена Роджиери.

– Нет, не хочу!.. Я уже сказала вам это.

– Ну, тогда будьте откровенны со мной, чтобы я мог разобраться, как следует нам действовать. Что же происходит с этой девушкой?

– Она находится в совершенно особом сне, который зависит от внушения чужой, посторонней ей воли.

– Не понимаю!

– Вы знаете, что такое сон?

– А это вот когда человек заснет.

– Ну конечно, но что в это время происходит с человеком?

– Да ничего не происходит!.. Он лежит и как будто перестает жить и чувствовать, только его дышащее тело остается.

– Ну, вот именно только «дышащее» тело. А отчего он перестает жить, чувствовать, мыслить и выражать свою волю?..

– Да так уж, от природы, ради отдыха.

– Ради отдыха, но не тела, а души. Во время сна душа человека отделяется и уносится в иные пространства, чем то,

в котором живем мы...

– Так это ведь когда наступает смерть, – возразил Митька.

– Смерть наступает, если душа, отделившись от тела, потеряет свою связь с ним, а если эта связь не порвана, тогда человек только спит. Это отделение души от тела совершается при отдыхе нормально само собою, но может быть сделано и искусственно, то есть вызвано волею другого человека, и тогда заснувший находится всецело во власти этого человека и делает все, что тот ему прикажет.

– Значит, молодая девушка находилась в чьей-нибудь власти?

– Доктора Роджиери. Он – доктор, знакомый с оккультной медициной.

– Это что же за медицина? – спросил Жемчугов.

– Ну, уж все я объяснять вам не могу; довольно сказать, что она совсем иная, чем официальная, и что к ней близко подходит так называемое знахарство, которое действует бессознательно и наугад, а оккультная медицина знает тайны природы, а также причины явлений. То, что проделал доктор Роджиери с Эрминией, на языке знахарок называется «напустить порчу». Мы имеем дело с порченой.

– Но ведь вы, по-видимому, умеете снимать эту порчу?

– Да, я умею «будить» от этого сна, наведенного другим человеком.

– И вы разбудили эту девушку?

– Да.

– Она рассказывала что-нибудь?

– Очень мало! Она заснула почти сейчас же опять, но уже нормальным сном, который был необходим ей для отдыха. Искусственное состояние подчиненного сна истомило ее. Нужно было дать ей восстановить свои силы, прежде чем расспрашивать, – сказала Ставрошевская.

– Ну, а когда она не спит, она выказывает желание подчиняться доктору Роджиери?

– Я уверена, что нет.

– А он может делать свои внушения и на расстоянии?

– Безусловно!

– Так что если бы она ушла, положим, от него, то он мог бы вернуть ее откуда ему угодно, внушив ей на расстоянии, чтобы она шла обратно?

– Конечно.

«Теперь понятно, – подумал Жемчугов, – почему она вдруг повернулась, когда шла вместе с Соболевым, встретившись с ним».

– Но скажите мне вот что, – спросил он, – если Роджиери может вернуть ее, дав приказание на расстоянии, то отчего же он не делает этого теперь, когда она находится у вас?

– Он и хотел бы сделать, да, вероятно, не может. Для этого он и сам приезжал ко мне. Но я была осторожна.

– Отчего же он не может и теперь?

– Оттого, что я разбудила ее и теперь она спит естественным сном. Для того, чтобы она послушалась внушений Род-

жиери, ему нужно приказать ей сначала проснуться от естественного сна, затем заснуть по его внушению, а тогда уже она будет исполнять все его приказания. Но он, вероятно, не догадывается сделать все это и приказывает ей непосредственно.

В этот момент в дверях показалась голова Груньки, взволнованной и растерянной.

– Барыня, – почти крикнула Грунька, – с барышней что-то неладное делается, совсем неладное... Они вдруг вскочили и побежали. Вот они...

Жемчугов увидел молодую девушку, которая была спасена им во время пожара. Она с невероятной силой оттолкнула от двери Груньку и направилась к выходу на лестницу решительным, торопливым шагом.

– Роджиери догадался! – быстро произнесла пани Мария Жемчугову. – Ради Бога, остановите ее силой!.. Не бойтесь!.. Смелее!.. Это надо сделать ради нее же самой! Удержите ее, говорят вам!

Так как другого средства не было, чтобы удержать молодую девушку, то Жемчугов догнал ее и схватил за руки.

– Пустите меня!.. Ведь он же зовет! – произнесла Эрминия.

Пани Мария подоспела к ней и сказала:

– Сейчас вас отпустят! Где он, который зовет вас?

– Разве вы не видите? Он тут, на улице... возле дома!..

Ставрошевская переглянулась с Жемчуговым и опять

спросила девушку:

– Он один?..

– Их двое... Пустите меня!.. – и девушка стала вырываться.

Однако Ставрошевская несколько раз провела над ее головой руками, дунула ей в лицо и взмахнула над нею руками опять, словно взяла с нее что-то и сбросила. Девушка ровно задышала, ее голова мирно склонилась, она опять спала естественным сном.

Жемчугов положил ее на диван, на тот же самый, на котором лежала она, когда ее принесли сюда после пожара.

– Теперь одно средство, – сказала пани Мария, – надо отвлечь внимание этого доктора Роджиери, который стоит тут, на улице, словом, сделать так, чтобы отвлечь его волю от внушения приказаний Эрминии.

– Если его избить, этого будет достаточно?

– Да, я думаю, это отвлечет его!

– Я отвлеку его! – прошипел сквозь зубы Жемчугов, заранее сжимая кулаки и направляясь к двери.

– Погодите! – остановила его Ставрошевская. – Ведь их там двое!

– И с двоими справлюсь!

– Да, но вот в чем дело: выйдет скандал, будет потом разбирательство, и тогда все узнают, что вы ночью были у меня. Вообще все это может только запутать дело, а не помочь ему!.. Не выслать ли мне просто гайдука?

В это время Эрминия поднялась с дивана и снова рванулась к двери.

Жемчугову снова пришлось схватить ее, но она выбивалась с громадной силой, почти сверхъестественной для такой молоденькой девушки, как она, и, выбиваясь, беспокойно повторяла:

– Пустите же меня!.. Мне невыносимо... я должна идти... я страдаю!.. Он зовет... Умоляю вас, пустите... он терзает меня...

И она вновь рвалась из рук Жемчугова и кричала. Грунька в испуге смотрела на нее и бессмысленно повторяла:

– Порченная!..

XL. Кровь

Ставрошевская опять сделала над головой Эрминии пассы, и та на минуту как будто успокоилась, но сейчас же стала рваться снова, по-видимому, ужасно мучаясь и совершенно изнемогая в этой муке.

– Боже мой... что он делает... он убьет ее!.. – воскликнула пани Мария, делая со своей стороны усилия помешать влиянию Роджиери, которое проявлялось так ощутительно.

И между ними как бы началась борьба, которая должна была вырешить: заставит ли доктор Роджиери на расстоянии послушаться Эрминию, или Ставрошевской удастся отстоять ее.

А молодая девушка билась как истязуемая жертва этой борьбы, и казалось, что она уже не выдержит больше.

По крайней мере, Жемчугов начинал изнемогать, главным образом от нравственного напряжения, которое он испытывал при всей этой сцене.

– Уж и впрямь не отпустить ли ее? – сказал он пани Марии. – Ведь она не выдержит!..

Но вдруг совершенно неожиданно Эрминия затихла, а на улице раздался крик.

Жемчугов опять уложил Эрминию на диван и вместе с пани Марией кинулся к окну, чтобы посмотреть, что произошло на улице.

Но над Петербургом стояла такая густая свинцовая туча, что трудно было видеть что-нибудь; уличных же фонарей тогда ночью не зажигали.

Крик повторился.

Грунька, уже успевшая слетать вниз, прибежала и заявила, что она из нижнего окна видела, как на улице убили человека.

В доме поднялась суматоха, на улице послышались голоса. Очевидно, сошлись сторожевые с ближайших рогаток, и в парадные двери Ставрошевской послышался стук.

Грунька сбежала вниз к дверям и, не отворяя их, вступила в переговоры со стучавшими, а потом явилась с докладом, что просят позволения внести раненого для оказания ему помощи.

Пани Мария задумалась.

– Кто бы он ни был, а раненому надо помочь! – сказал Жемчугов.

– Пусть внесут вниз, в диванную! – приказала Ставрошевская Груньке и, когда девушка побежала, обратилась к Жемчугову: – Очевидно, ранен доктор Роджиери, потому что Эрминия спокойна!

– Но что же мы будем делать с нею? – спросил Жемчугов, показав головой на молодую девушку. – Все-таки необходимо на время увезти ее из Петербурга! Нужно только знать, как далеко распространяется сила доктора Роджиери или подобных ему?

– Для того, чтобы они могли воздействовать, им необходимо более или менее точно знать, где находится тот или та, кому они приказывают. Они должны как бы мысленно перенестись сами в то место, а так вообще в пространство они влиять не могут.

– Тогда все превосходно! – воскликнул Жемчугов. – Я могу увезти эту девушку в такое место, что никто не найдет.

– Я тоже поеду с нею! – решительно произнесла Ставрошевская.

– Для вас это будет слишком опасно, потому что окажется слишком явным, что вы действуете наперекор приказанию герцога. Напротив, вам нужно держаться в этой истории так, как будто вы совсем ни при чем, тем более, что через несколько времени спасенная вами больная опять вернется к вам!

– Да, вы, пожалуй, правы! – согласилась пани Мария. – Но куда вы отправите ее?

– В Петергофе у князя Шагалова есть дача. Я думаю, там будет до поры до времени вполне безопасно.

– Но ведь нельзя же отправить ее туда одну!

– Дайте ей Груньку с собой.

– Это все равно, что она поселится одна, и тогда, конечно, всякий обратит на нее внимание.

– Вам не жаль будет ста целковых?.. – спросила вдруг Грунька.

– Ста целковых? Ну, положим, мы найдем их... А зачем

они тебе? – проговорил Жемчугов.

– За сто рублей, – пояснила Грунька, – наша барышня Убрусова не только в Петергоф, а куда угодно поедет и с кем угодно, хоть с самим сатаной... Уж очень они до денег охочи!..

– А ведь она права! – согласился Жемчугов. – Это – самая лучшая комбинация!

– Сейчас мы договоримся окончательно, – сказала Ставрошевская, – а пока я только спущусь вниз и узнаю, что там такое.

Внизу уже успели внести раненого, и пани Мария спустилась туда как раз вовремя.

Лишние люди уже ушли; возле раненого хлопотали дворецкий и повар Авенир, и там же был бироновский немец Иоганн, которого Ставрошевская знала в лицо, потому что, кажется, знала в лицо всех, кто жил в Петербурге.

– Я и мой знакомый, доктор Роджиери, – пояснил он, – шли мимо вашего дома, возвращаясь из гостей, где слишком долго засиделись, и вдруг доктор совершенно неожиданно и как будто без всякой причины подвергся нападению сзади и был ранен кинжалом! Вот все, что я знаю. Он, кажется, истекает кровью, а потому я решил просить вашего гостеприимства, чтобы оказать первую помощь раненому.

– Вы послали за доктором?

– Я сейчас сам хотел отправиться за ним.

– Хорошо, идите; а пока я обмою рану и сделаю перевязку,

потому что в этом деле я понимаю немного! – проговорила пани Мария и быстрыми, легкими шагами побежала наверх за бинтами, тряпочками для корпии и вообще за всем, что нужно для перевязки.

На ходу она бросила Жемчугову:

– Роджиери ранен и, по-видимому, опасно! С ним бироновский Иоганн; он поехал за доктором. Поистине мой дом обращается в лазарет!

– Если Роджиери ранен, – решил Жемчугов, – то мы, во всяком случае, выигрываем время и можем обождать до утра, так как завтра утром итальянец будет находиться с мадемуазель Эрминией под одной кровлей, и, значит, отвозить ее к нему будет некуда. Я могу удалиться?

Ставрошевская кивнула ему головой и сказала:

– До свиданья! До завтра!..

Грунька проводила Митьку до дверей, и он пробрался, как ни в чем не бывало, закоулками в соболевский дом.

Там Шешковский, привыкший за своим делом не спать по ночам, и хорошо выспавшийся в течение дня Иван Иванович сидели и разговаривали.

Митька пролез к себе в комнату через окно и, когда вышел в столовую к Соболеву с Шешковским, то последний обратился к нему и заговорил совсем усталым голосом:

– Представь себе, не могу я уговорить этого человека, чтобы он скрылся из Петербурга! Уперся и ни с места!.. Какие резоны я ему не представляю, у него на все есть ответ!

– Да это потому, что ты, вероятно, не затронул главного, что удерживает его здесь! – сказал Митька и обернулся к Соболеву. – Послушай, Иван Иванович, желаешь ты отвезти на своей тройке завтра спозаранку в Петергоф мадемуазель Эрминию?

Соболев, как будто чувствуя, что Митька говорит нечто для него интересное, несколько более оживленно спросил:

– Какую мадемуазель Эрминию?

– Ту самую... которая девица... Ее зовут Эрминией.

– Ее зовут Эрминией? – воскликнул Соболев. – И я могу отвезти ее в Петергоф на своей тройке?

– И остаться при ней, если хочешь...

– Да что ты говоришь? Митька!.. Да как же, брат, не хотеть?! Странно даже спрашивать об этом!

– Но только для этого тебе надо преобразиться в лакея!

– В лакея? При ней быть лакеем?.. Разве нельзя как-нибудь иначе сделать?..

– Ах, ты, глупая голова! Да в каком же ином виде тебе можно будет жить вместе с молодой девушкой?.. Ведь она будет знать, что ты – не лакей, а живешь при ней, чтобы оберегать ее от всяких случайностей, для других же ты будешь изображать лакея и этим сам укроешь свое инкогнито!

– Да! Если она будет знать, тогда, конечно, другое дело! Тогда ведь это все великолепно устраивается! Итак, я могу скрыться из Петербурга! – сказал Соболев в сторону Шешковского.

– Ну, вот видишь! – к нему же обратился Жемчугов. – И уговорили молодца!

– Ну, а там у тебя что было? – спросил Шешковский Митьку.

– Мне, брат, опять повезло! – ответил тот. – Сейчас в доме у пани Марии лежит раненый доктор Роджиери, и Ставрошевская ухаживает за ним вместе с картавым немцем, так что благодаря этому отъезд мадемуазель Эрминии мы можем устроить не спеша.

– Как же это все случилось?

– А вот сейчас выйдем вместе – мне надо отправиться к Шагалову, – так я и расскажу тебе все. Только сейчас надены высокие сапоги, а то в чулках и башмаках ночью по городу ходить неудобно.

Жемчугов вышел на стеклянную галерею за сапогами и, к крайнему своему удивлению, увидел, что там горела свечка, а возле этой свечки возился Ахметка.

– Ты что тут делаешь? – окликнул его Жемчугов. – Откуда ты взялся и куда пропадал?

– Я в бане был!.. Надо, не надо, я раз в год в баню хожу! – заявил Ахметка.

– Ты не ври! Ведь тебя здесь не было двое или даже трое суток, а на такой срок в баню не ходят!.. Да и баня у нас у самих топится каждую неделю!.. Что это ты делаешь, однако? – спросил опять Митька, увидев, что Ахметка оттирает какой-то тряпицей свой кинжал.

– Кинжал чищу! – спокойно ответил Ахметка.

– Ты когда вернулся? Недавно?.. Только что?..

– Недавно.

Ахметка произнес это очень тихо и опустил голову.

– Послушай, Ахметка, ведь на твоём кинжале сейчас была кровь.

– Кинжал для того и делают, чтобы на нём кровь была.

Жемчугов долго и пристально поглядел на него и наконец сказал, понижая голос до шепота:

– Ведь то, что случилось сейчас с итальянцем у дома пани Ставрошевской, – твоих рук дело?

– Никаких тут ни рук, ни дела нет! – проворчал Ахметка.

– Да ты мне скажи, дьявол, видел тебя кто-нибудь?.. Заметил?.. Надо ли скрывать тебя?

– Зачем скрывать? Если нужно будет, Ахметка сам себя скроет!.. Ничего скрывать не надо! Никто ничего не видел.

– С какой стати ты это сделал?

– Ничего я не делал и ничего я не знаю!.. Ничего не делал...

– Как же нам теперь быть с тобой, Ахметка?

– А никак не быть. Ты мне сделал защиту, я тебе благодарен и тебе сделаю защиту!.. Кровь за кровь, а дружба за дружбу. Небось, барин-Митька, Ахметка зла тебе не сделает!.. Пригодится еще! А кровь за кровь...

– Так ты только кровь за кровь признаешь?

– Или за кровную обиду. А так Ахметка – не разбойник.

– Ну, хорошо! Теперь мне некогда, я после поговорю с тобой, – и, взяв сапоги, Жемчугов пошел в комнаты.

«Неужели у этого Ахметки, – рассуждал он, – есть какие-нибудь кровавые счета с доктором Роджиери? А впрочем, чего на свете не бывает! Но, во всяком случае, надо будет разузнать об этом».

XLI. Цветочки

На другой день Шешковский явился к Андрею Ивановичу Ушакову на дом с обычным докладом.

Вчерашние тучи, разразившиеся ночью ливнем, рассеялись; солнце засветило ярко, стало тепло, и все заблестело кругом, зазеленело и зацвело.

Генерал-аншеф Ушаков был большой садовод и любитель нежных цветов. При его доме на Фонтанной, где он жил, был разбит огромный сад, великолепно содержанный, с дорожками, утрамбованными и усыпанными песком, с клумбами и целыми цветниками, с искусно подстриженными деревьями и кустами на голландский образец, в виде петухов, грибов, арок, ваз и т. п., но без всяких затей, которые бывают в парках. Не было ни павильонов, ни фонтанов, ни гротов, ни искусственных развалин – ничего, кроме огромного цветника.

Когда выдавался хороший день, в особенности, весною, Андрей Иванович любил ходить в своем саду с садовым ножом в руках, в сопровождении садовника, давать ему свои указания или вместе с ним любоваться на цветы.

Шешковский обыкновенно тоже призывался в сад. Тогда Ушаков отпускал садовника и начинал беседовать со своим секретарем, водя его по своим цветочным владениям и часто вставляя среди деловых рассуждений фразы, обращающие внимание Шешковского на какой-нибудь листик, клум-

бу или дерево. Эти маленькие отступления нисколько не мешали деловому разговору; напротив, Шешковский очень любил эти доклады в саду, потому что тогда все проходило необычайно гладко.

Так и на этот раз Шешковский был позван в сад и нашел Ушакова наклоненным над целым рядом клумб разноцветных тюльпанов.

– Здравствуйте! – встретил его генерал-аншеф. – Посмотрите, как нынче тюльпаны удались! И какая странность: желтые главным образом! А красные вот не так!.. Ну, что у вас нового?

– Все благополучно, ваше превосходительство! Ничего особенного!..

Ушаков поглядел на своего секретаря и, убедившись по его спокойному виду, что и впрямь все обстояло благополучно, в знак своего удовольствия достал свою золотую табакерку, открыл ее и потянул носом табак.

– Этого... как его там?.. Ну, словом герцогского поджигателя нашли, как было приказано его светлостью?..

– Нашли, ваше превосходительство.

– И взяли?

– Так точно!.. Он, оказалось, не был сумасшедшим. Это у него был бред, причем сегодня после ареста выяснилось, что у него натуральная оспа. Он лежит в карантинном каземате.

– Та-ак!.. – протянул Ушаков. – Бедный! Как же это он так заразился? – покачал он головой. – Как же мы будем теперь

допрашивать его?

– Может быть, ваше превосходительство, господин Иоганн, из преданности к герцогу Бирону, пройдет для допроса к оспенным, в карантинный барак?

– Что же! Может быть! – усмехнулся Андрей Иванович. – Я доложу!.. А посмотрите, – показал он на огромный куст белой сирени, – ведь такой красоты вы, пожалуй, нигде во всем Петербурге не найдете! Хороши цветочки?

– Великолепные цветочки, ваше превосходительство!

– Я, как поеду к герцогу, так велю нарвать букет. Это, вероятно, доставит удовольствие его светлости! Ну, а с мамзелью что?

– Пока только выяснили ее имя... Ее зовут Эрминия.

– Она отвезена к доктору Роджиери?

– К сожалению, это нельзя было сделать!

– Почему?

– Потому что доктор Роджиери сам был сегодня раненый внесен в дом пани Ставрошевской, где находится эта Эрминия.

– И опасно ранен?

– Кажется, опасность серьезная.

Ушаков вдруг выпрямился и, сдвинув брови, воззрился на секретаря и произнес:

– Смотрите, Шешковский, как бы вам не сожалеть об этой ране, нанесенной итальянцу?

– Я очень сожалею, ваше превосходительство, об этом

случае! – твердо и спокойно произнес Шешковский. – Но дальше сожаления пойти не могу, потому что решительно не знал, да и не мог знать, что господину Роджиери с господином Иоганном понадобится ночью шнырять под окнами польской пани. Очевидно, его пырнул совершенно случайно какой-нибудь негодяй, наткнувшийся на них; ведь если бы тут было заранее обдуманное дело, то его можно было бы оборудовать гораздо более тонко; но для таких людей не было решительно никакого смысла так грубо расправляться с итальянцем, существование которого, напротив, как я полагаю, нужно для хода известных событий.

Андрей Иванович прослушал все это очень внимательно, прищуriv один глаз и наморщив лоб; очевидно, он усиленно соображал все происшедшее.

– Так что я могу быть по-прежнему доволен своим секретарем, – произнес он с расстановкой, – и мой друг Шешковский не позволил себе ничего лишнего?

– Решительно ничего, ваше превосходительство!

– Следствие производится?

– Я поручил пока расследование Дмитрию Жемчугову.

Но, ваше превосходительство, посмотрите, кажется, что-то случилось! Бежит слуга!

И в самом деле, от дома к ним бежал слуга в ливрее Ушакова и прерывающимся голосом, растерянно еще издали докладывал:

– Ваше превосходительство, его светлость герцог Бирон

изволили пожаловать.

– Сам приехал! – усмехнулся Ушаков. – Оставайтесь здесь где-нибудь незаметно! – сказал он Шешковскому. – А я пойду к нему навстречу один.

Едва успел Шешковский зайти за живую ограду из густого и высокого кустарника, подстриженного в виде крепостной зубчатой стены, а Андрей Иванович направиться к дому, как оттуда уже показался спускавшийся по ступенькам террасы в сад сам герцог Бирон.

Спустившись, он пошел навстречу Андрею Ивановичу широкими шагами, сильно размахивая тростью, на которую опирался.

– Что же это такое, генерал? – заговорил он на ходу. – В Петербурге режут людей на улице?

– Что делать, ваша светлость! Это не в одном Петербурге, но и во всех городах в России и за границей! – невозмутимо ответил Ушаков, отвешивая на песке дорожки по-придворному церемонный реверанс и запахивая на груди свой шелковый архалук, в котором по-домашнему гулял в саду.

– Но это нельзя допускать! – горячился Бирон. – Ведь ранен доктор Роджиери!

– И, кажется, опасно, ваша светлость!

– Вы уже все знаете?

– Я был бы плохой начальник Тайной канцелярии, если бы не знал всего, что мне должно знать! – ответил по своему обыкновению Андрей Иванович. – Я не понимаю одно-

го: как доктор Роджиери мог очутиться вместе с господином Иоганном ночью, среди Невской перспективы, у дома пани Ставрошевской. Конечно, я не мог даже предположить об их намерении сделать это, а то иначе непременно послал бы для охраны их своего агента.

– Вы уже начали расследование?

– На расследование командирован один из лучших агентов.

– Я хочу, генерал, чтобы вы сами взялись за это дело и немедленно отправились вместе со мной в дом к этой польке. Я хочу сам навестить господина Роджиери и узнать о его здоровье. Он – слишком видный иностранец, чтобы нам легко относиться к такому случаю с ним.

– Я сделаю, ваша светлость, все от меня зависящее, чтобы выяснить это дело. Но вы позволите мне допросить господина Иоганна, чтобы он подробно рассказал мне, как и почему он и доктор Роджиери оказались у этого дома.

Бирон поморщился.

– Я уже слышал это один раз от вас сегодня, но не понимаю, как могут гулять по Петербургу ночью негодяи, когда улицы заграждены рогатками. Но, впрочем, поедemте... – В этот момент герцог случайно взглянул на куст белой сирени и невольно залюбовался им, после чего произнес: – Очень хорошие цветочки!

«Будут и ягодки!» – подумал Ушаков и последовал за ним.

XLII. Ягодки

Герцог Бирон, посадив с собою в карету Андрея Ивановича Ушакова, ехал молча. Он не разговаривал потому, что его мысли были заняты соображением о том, что случилось вдруг там, откуда идет направление судьбы человеческой?

До сих пор все способствовало не только к упрочению его счастья, но даже к увеличению его. Все ему давалось, и стоило ему лишь захотеть, как сейчас же случалось желаемое.

И вот только в последние дни судьба словно противоречила ему. Все, происшедшее с пожаром дома, не нравилось герцогу.

Последняя неприятность – нанесенная кинжалом рана доктору Роджиери – вывела Бирона из терпения, и он решил взять это дело в свои руки и во что бы то ни стало добиться истины.

Теперь он ехал не для того только, чтобы навестить раненого, но и для личного производства следствия.

Появление самого герцога, да еще вместе с начальником Тайной канцелярии, конечно, было событием из ряда вон выходящим, но все-таки не произвело в доме пани Ставрошевской никакого переполоха. Когда ей доложили, что изволил пожаловать герцог Бирон в сопровождении генерал-аншефа Ушакова, она спокойно проговорила:

– Просите пожаловать его светлость.

Она как раз находилась в это время у постели больного Роджиери, который еще не приходил в себя. Ночью он бредил, под утро заснул было и затих, потом опять заметался, но в сознание не приходил; затем сон снова охватил его.

Роджиери лежал в диванной на принесенной сюда постели, и, войдя к нему, Бирон увидел итальянца лежащим на высоких, ослепительной белизны подушках, причем бледность его лица почти ничем не отличалась от этой белизны.

Пани Мария стояла возле, в темном скромном платье, с такою простотою и достоинством, что герцог невольно обратил внимание на нее.

– Он умер? – спросил он, понижая голос, пораженный смертельною бледностью итальянца.

– Он спит, – ответила Ставрошевская, – сильная потеря крови очень ослабила его.

– Рана очень опасна? Что говорит доктор?

– Еще ничего нельзя определить. Все зависит от того, как пойдет лихорадка, насколько я могу судить...

– А по чему это вы можете судить?

– Первую перевязку делала я сама.

– Вы, значит, осведомлены в медицине?

– Мы, женщины, обязаны уметь врачевать те раны, которые часто мужчины наносят друг другу из-за нас же.

– Он приходил в себя?

– С тех пор, как он у меня в доме, он все находится в том же, как теперь, положении.

– Нельзя ли перевезти его домой или, пожалуй, ко мне во дворец?

– При малейшем движении кровь может хлынуть из раны, и роковой исход станет неизбежным. Его тронуть нельзя.

– Очень жаль, – сказал Бирон и добавил: – Проведите меня в другую комнату, где можно было бы говорить без опасения обеспокоить больного.

– Прошу вашу светлость следовать за мною, – пригласила пани Мария с низким реверансом.

Она провела герцога и Ушакова в большую гостиную, и, как только они уселись там, лакей принес на серебряном подносе белое вино в граненом хрустальном кувшине со льдом и вазу земляники.

В то время в Петербурге было много теплиц и оранжерей, устроенных богатыми барами, благодаря даровому крепостному труду, и в этих теплицах и оранжереях произрастали всякие редкости – и земляника, и персики, и ананасы. В продаже, в лавках их, конечно, не было, но «оказией», т. е. из-под полы, садовники торговали потихоньку от господ в свою пользу.

– Вы ничего не знаете по поводу раны, нанесенной доктору Роджиери? – спросил у Ставрошевской Бирон, строго сдвигая брови.

Он хотел показать, что чинит форменный допрос, но пани Мария ответила ему с непринужденностью любезной хозяйки, охотно готовой вести разговор на интересную для ее

гостя тому.

– Видите ли, ваша светлость, для того, чтобы найти хоть какую-нибудь нить, нужно знать, зачем доктор Роджиери очутился ночью на улице возле моего дома.

«И эта говорит то же, что и Ушаков, – подумал Бирон. – Что же, они сговорились или это так ясно, что даже женщина может сообразить?»

Он поглядел на Ушакова – тот сидел невозмутимо, глазом не моргнув.

Герцог почувствовал, что без доктора Роджиери действительно трудно дознаться о чем-нибудь. Сам он знал, зачем итальянец был тут, у дома, ночью, но, разумеется, не мог рассказать об этом ни Ушакову, ни Ставрошевской. Приходилось выждать, пока Роджиери очнется и будет в состоянии говорить, тем более, что, может быть, он успел заметить, кто его ударил кинжалом, и это могло бы единственно послужить отправной точкой для следствия, так как никаких других указаний для розыска не находилось.

– Я заставлю пытаться по очереди всех жителей Петербурга, а выясню это дело, – сказал Бирон. После этого он налил себе стакан вина, выпил его залпом и обратился к пани Марии: – У вас была молодая девушка, воспитанница доктора Роджиери. Она знает о несчастном случае со своим благодетелем?

– Она сказала мне, что он – не благодетель ей, а ее злейший враг.

– Она сказала это?

– О, да, ваша светлость! Она сказала это. Разве я осмелилась бы солгать вам?

– Но ведь она была в обмороке?

– Обморок прекратился, и девушка совершенно оправилась.

– Я дал вам вчера приказание, – сказал Бирон Ушакову, – по просьбе доктора отправить эту девушку к нему сегодня утром!

– Но доктор Роджиери, – бесстрастно ответил Ушаков, – сам находится в этом доме и посылать к нему теперь пока некуда!

– Так что эта девушка еще у вас? – спросил герцог у пани Марии.

– Нет, ваша светлость! – проговорила та, поднимая брови, что придало ее лицу бесподобный отпечаток наивности. – Она уехала!..

– Как уехала?.. Куда уехала? – взволновался Бирон, так что это волнение совершенно не соответствовало герцогскому достоинству, которое он носил.

Ушаков смотрел в сторону, но следил за герцогом углом глаз и учитывал каждый малейший оттенок его выражения.

– Если я не ошибаюсь, она направилась, кажется, в сторону Гродно! – сказала Ставрошевская.

– Но как же вы не удержали ее? – воскликнул герцог.

– Какое же я имела право удерживать ее, ваша светлость? Сегодня рано утром она пришла в себя; ей сказали, что я, хо-

зьяка этого дома, нахожусь внизу, возле раненого, которого внесли к нам в дом сегодня ночью. Она заявила, что не хочет тревожить меня и отрывать от раненого, что чувствует себя вполне здоровой и крепкой, и спустилась ко мне сама. Увидав доктора Роджиери, она чуть не впала в новый обморок и затряслась, как в лихорадке. Она сказала, что это – ее злейший враг, что она не желает дольше ни секунды оставаться с ним под одной кровлей, что это Бог наказал его за нее, что у нее живут родители в Гродно и что она хочет немедленно возвратиться к ним, потому что доктор Роджиери насильно украл ее у родителей и держал ее у себя против ее воли.

Бирон слушал, прикусив свои тонкие губы.

– Но ведь я же ясно приказал отвезти ее к доктору, – повторил он.

– Она, между прочим, – тихо и отдельно, слог за слогом продолжала Ставрошевская, – пугала меня тем, что через своих друзей, которые будто бы уже нашлись у нее в Петербурге, обратится к государыне и доведет до ее сведения, как поступают с нею.

– Если прикажете, ваша светлость, – быстро спросил Ушаков, – то молодая девушка будет немедленно разыскана, схвачена и привезена, куда будет угодно вашей светлости.

На этот прямой вопрос Бирон не мог дать сейчас прямое приказание. Видимо, упоминание имени государыни возымело на него свое действие. Очевидно было, что герцог, действовавший всегда по своему личному произволу, зная за-

ранее, что императрица Анна Иоанновна покроет и одобрит всякое его самовольство, на этот раз не хотел, чтобы дело доходило до нее, и чтобы она узнала о существовании этой молодой девушки, и о том, что он имеет к ней какое-нибудь отношение.

Наступило тяжелое, продолжительное молчание; его прервал Андрей Иванович Ушаков.

– Вот ягодки, ваша светлость! – сказал он Бирону, передавая ему вазу с земляникой. – Они, кажется, отменно-превосходные!

Бирон отстранил от себя землянику, встал и, не простившись, уехал к себе домой в карете один.

XLIII. Непонятное станет впоследствии понятно само собою

Бирон уехал, а за ним сейчас же и Ушаков. Пани Мария, проводив их обоих, поднялась наверх, где ждал ее Митька Жемчугов.

– Высокие, однако, гости были у вас! – встретил он Ставрошевскую, мотнув головой и подмигнув глазом.

– Не знаю, что из всего этого выйдет! – раздумчиво произнесла пани Мария. – Я все сказала так, как мы условились, то есть что Эрминия отправилась в Гродно, что у нее оказались в Петербурге друзья... А вы доставили ее в Петергоф?

– Да, и поселил вместе с этой сантиментальной старой де-вой.

– Мне можно будет навещать их?

– Я думаю, это будет неосторожно. За вами, вероятно, будут следить агенты Бирона; они у него не Бог весть каковы, но все-таки с ними надо быть осторожным.

– Ах, кстати! – сказала Ставрошевская. – Нет ли у вас одного или двух людей, которые были бы на все готовы?

– Есть один такой! – сказал Жемчугов, думая про Ахметку.

– Его можно нанять?

– Ну, нет! Этот не таков, чтобы его нанимать.

– Нет, мне надо вопрос поставить просто: заплатить и чтобы было кончено...

– Таких нет у меня! А, впрочем, подумаю. Если найдется, пришло. Ну, значит, пока все обстоит благополучно! – закончил Митька. – Я теперь пойду домой и отдохну немного, потому что ведь всю ночь возился и ни на минуту глаз не сомкнул.

Он отправился к себе домой, но ему не суждено было немедленно предаться отдыху.

Дома его ждал Пуриш с Финишевичем.

Положительно страшные это были люди! Они пришли к Жемчугову ни более ни менее как с откровенным признанием того, что были наняты картавым немцем, бироновским Иоганном, следить за ним, Митькой Жемчуговым, но что немец оказался мазуриком, обсчитал их, и они теперь готовы служить ему, Митьке, и исполнять всякое его поручение.

– А на что мне вас? – даже рассердился Жемчугов. – Я пить и один умею, без помощников! А компания вы для меня неподходящая!..

– Отчего же неподходящая? – серьезно спросил Финишевич, расправляя усы.

– Пьете мало, – ответил Митька.

– Да нет, мы отлично умеем пить! – снова пустился в рассуждения Пуриш.

Но Митьке так хотелось отделаться от них, что он, не желая и слушать ничего, чтобы освободиться, послал их непо-

средственно к Ставрошевской, вспомнив, что ей нужны были какие-то люди. О том, были ли эти два почтенных друга подходящими для пани Марии или нет, Митька не заботился, а просто ему хотелось, чтобы они ушли и оставили его в покое.

Средство подействовало: Финишевич и Пуриш взяли за шапки и немедленно исчезли, а Митька завалился спать.

Пани Ставрошевская видала пред тем мельком и Пуриша, и Финишевича. Очень может быть, что они даже были уже как-нибудь в числе той массы мужчин, которая посещала ее; но так как они решительно ничем замечены не были, то Ставрошевская не обратила на них никакого внимания. Когда они явились от имени Жемчугова, она приняла их совсем как новых для себя людей и, конечно, стала пристально вглядываться в них.

Заговорил с ней Пуриш, который был словоохотлив до болтливости, иногда переходившей всякие границы. Он прямо приступил к делу и, сославшись на Жемчугова, сказал, что тот прислал их, потому что пани Марии нужны двое людей, что они готовы разговаривать серьезно и могут сделать все, конечно, в зависимости от той суммы, которая будет предоставлена в их распоряжение.

Эта форма была, правда, несколько более деликатна, чем простое условие платы, но все же она сводилась к тому же самому, и такая постановка вопроса обещала со стороны этих господ весьма многое.

Ставрошевская очень быстро поняла и оценила Пуриша и продолжала пристально вглядываться в Финишевича. Он молчал, потупившись, как бы не решаясь встретиться взглядом с пани Марией.

Наконец, в самой середине красноречивой тирады Пуриша Ставрошевская вдруг сказала ему:

– Хорошо. Я дам вам свои распоряжения через вашего товарища. Мне лучше разговаривать с одним из вас.

– Это значит, – сообразил Пуриш, – что вы делаете намек, чтобы я ушел?

– Вы, как я вижу, очень понятливы, когда вам что-нибудь хорошо растолкуют! – ответила Ставрошевская. – Я именно хочу, чтобы вы ушли и оставили меня с паном Финишевичем!

При слове «пан» Финишевич как будто дрогнул, но Пуриш этого не заметил и продолжал, обращаясь к пани Марии:

– Видите ли, я желал бы немного рассеяться! Ну, куда-нибудь пойти бы, и потому я желал бы получить от вас в виде задатка...

– Ну, вот вам десять рублей! – проговорила, вынимая деньги, Ставрошевская.

Пуриш, взяв их, стал сейчас же откланиваться. В те времена десять рублей были большие деньги, и эта подача была довольно щедрая.

Оставшись наедине с Финишевичем, пани Мария выдержала некоторое время молчание, глядя на него, потом как-

то странно улыбнулась и сказала, как будто даже весело:

– Стасю, ведь это – ты!..

– Я, моя кохана!⁴ – ответил Финишевич.

– Ну, ты меня коханой не называй и вообще всякую близость со мной оставь! – проговорила Ставрошевская по-польски.

– Как будет пани угодно! – вздохнул Финишевич.

– Однако с этими рыжими усами тебя трудно узнать! Ты словно даже ростом стал выше.

– Это – двойные каблуки! – чистосердечно пояснил Финишевич.

– Да, тебя трудно узнать! – повторила пани Мария.

– А тебя я сейчас узнал!

– Ну, мне что же? Мне скрываться нечего. Но ведь если тебя узнают, тогда беда!

– Да ведь что же делать? Надо же где-нибудь жить! А забираться в какую-либо трущобу еще хуже: там уж совсем все на виду.

– Да, но все-таки это неосторожно. Чем же ты живешь?

– Да пока живу у этого Пуриша, ну, и вместе кое-как достаем средства!

– В карты играешь?

– И в карты играю.

– А знаешь, Стасю: мне теперь именно такой человек, как ты, нужен!

⁴ Любимая.

– Ну, что же, это очень хорошо, пани Мария!

– И ты навсегда можешь себе деньги заработать, так что до конца жизни будешь жить безбедно!

– Чего же лучше, пани!

– Но для этого надо сделать нелегкое дело.

– Я понимаю, что за легкое дело большие деньги и платить нечего.

– Вот видишь ли: сначала мне нужно было двоих людей, чтобы они следили только за одной молодой девушкой, ну, а раз подвернулся такой человек, как ты...

– А разве я почему-нибудь особенный? – ухмыльнулся не без самодовольства Финишевич.

– Сам по себе нет, но я знаю, что ты от меня зависишь, потому что я могу выдать тебя; вследствие этого тебе выгоднее слушаться меня, а потому ты в моих руках.

– Я у твоих ног, пани Мария!

– Ну, эти глупости брось!.. Слушай, что я скажу тебе. Мне нужно, наконец, отделаться от Эрминии.

Финишевич многозначительно поднял брови и проговорил:

– Конечно, это было бы хорошо сделать, но как достанешь ее в Гродне?

– Она здесь, в Петербурге, то есть, вернее, под Петербургом.

– Эрминия? Здесь?

– И одна-одинешенька! Она была увезена из Гродны ита-

льянцем доктором, который желал использовать для своих целей ее красоту и способность подчиняться внушению.

– Так что ее в Гродне теперь разыскивают?

– По всей вероятности. Случайность или судьба привела ее ко мне, и я должна была отправить ее сегодня отсюда в силу целого ряда очень сложных причин.

– И где же она?

– Теперь в Петергофе. Место там не Бог весть какое населенное и пробраться туда, чтобы там все сделать тихо и мирно, ничего не стоит. Ты ведь понимаешь, что если я отделаюсь от Эрминии, то буду в состоянии выплачивать тебе столько денег, сколько будет нужно, чтобы удовлетворить тебя.

– Все это очень заманчиво! – сказал Финишевич.

– Ну, так вот! Действуй осторожно, но времени не теряй.

– А где живет Эрминия?

– В Петергофе, на даче князя Шагалова.

– А кто там есть при ней?

– Две старухи и слуга. Впрочем, это надо хорошенько разведать.

– Мне нужны деньги на разведки.

– Да ведь ты пропьешь их или проиграешь.

– Все может быть! Конечно, это будет риск с твоей стороны, но кто ничем не рискует, тот ничего и добиться не может!

– Я ведь твоему товарищу дала.

– Так то ему!.. Он всегда рассеяться любит. А я спраши-

ваю на дело.

– Ну, на и тебе десять рублей! – сказала Ставрошевская, давая деньги.

XLIV. Иоганн продолжает сердиться

Надо отдать справедливость, Иоганн оказался в удивительно глупом положении. До сих пор он в тайнике души воображал, что руководит герцогом Бироном и, так сказать, является для него как бы талисманом, приносящим ему счастье. И вдруг он должен был убедиться, что все дело испортилось, вследствие его, Иоганна, вмешательства. Дом, где, казалось, они так искусно спрятали Эрмению от посторонних глаз, сгорел. Сама Эрмения исчезла, а доктор Роджиери лежал без памяти, раненный насмерть.

Когда герцог, вернувшись от польки, рассказал весь свой разговор там, Иоганн понял, что дело осложнилось и стало чрезвычайно деликатным, после того как упомянуто было имя государыни, от которой, конечно, надо было скрыть все, ибо это могло навлечь на герцога опалу; ведь ею могли воспользоваться враги Бирона и друзья Волынского⁵, еще не

⁵ Артемий Петрович Волынский (1689–1740 гг.) при Петре I, Екатерине I и Петре II занимал различные административные должности и в качестве администратора проявил недюжинные способности. Но корыстолюбие и страсть к интригам вредили ему и препятствовали к занятию первых государственных должностей. При помощи Бирона А. П. в царствование Анны Иоанновны удалось занять пост кабинет-министра, но Бирон же и погубил его, увидев в нем не союзника, а весьма опасного соперника. Недостатки А. П. дали много материала для обвинения, и он был казнен вместе со своими единомышленниками.

казненного.

«Надо скорее добиться казни этого человека!» – как бы отметил в своей памяти Иоганн, а затем долго раздумывал, как взяться снова за это дело, которое казалось как бы прерванным или приведенным к нулю.

Герцог сидел у себя в кабинете, никого не принимал, и даже домашние не смели входить к нему. В такие минуты один только Иоганн имел доступ к нему. И вот картавый немец решился потревожить одиночество его светлости. Он вошел как будто затем, чтобы прибрать раскиданные в сердцах Бироном вещи.

Герцог стал у окна и, заметив вошедшего Иоганна, отвернулся, но не прогнал его из комнаты. Иоганн понял, что оба они думали об одном и том же, и заговорил.

– Тут много неясного! – сказал он, как будто нечаянно произнеся вслух свои мысли.

– Тут ясно одно, – произнес Бирон, – а именно, что счастье начинает отворачиваться от меня!

– И, полноте, ваша светлость! – уверенно протянул Иоганн. – Случались и более серьезные неприятности, и все устраивалось к лучшему! Сколько раз во время борьбы с Артемием Волынским вы думали, что не удастся победить его, однако, он, хотя и не казнен еще, но уже приговорен к казни.

– Он будет казнен завтра.

– Аминь! – произнес Иоганн. – Я думаю, тогда все пойдет хорошо.

– Посмотрим! Но о какой именно неясности ты заговорил?

– Полька сказала вашей светлости, что Эрминия грозила обращением к государыне императрице и что у нее нашлись в Петербурге друзья.

– Ну, да! Она при их посредстве и уехала.

– Надо будет узнать имена этих друзей, если она только не лжет.

– Ах, как это все сложно и запутано! – нетерпеливо произнес Бирон. – Главное – досадно, что доктор Роджиери не может помочь нам.

– Во всем этом деле, – продолжал настаивать Иоганн, как бы желая показать, что и без доктора Роджиери можно обойтись, – главным виновником я считаю молодого человека, вскочившего ко мне в лодку и затем провожавшего Эрминию, когда она шла обратно в дом.

– Тот самый, который теперь болен оспой?

– Да, именно, – подтвердил Иоганн. – Но надо проверить, так ли это в действительности.

– Как же это проверить?

– Пройти к нему и посмотреть на него.

– Но кто пойдет к оспенному?

– Я! – сказал Иоганн, и герцог остановил на нем долгий взгляд, в котором были видны и удивление, и как будто даже умиление: ведь идти к оспенному больному значило рисковать жизнью, а Иоганн шел на это ради преданности делу.

Бирон приблизился к картавому немцу, протянул руку и сказал:

– Благодарю.

Иоганн был тронут и благодарностью герцога, и, главным образом, собственной своею добродетелью, которая вызвала даже слезы у него на глаза.

– Да, я пойду, – сказал он, – чтобы проверить, действительно ли болен этот человек; кроме того, надо еще проверить, действительно ли Эрминия отправилась, или, вернее, отправлена в Гродно.

– А ты думаешь, что это – неправда?

– Я не думаю, ваша светлость, а рассчитываю. И мне кажется, что если у Эрминии есть друзья, то у них нет таких денег, чтобы отправить ее далеко от Петербурга. Я полагаю, что она где-нибудь здесь близко. Надо сделать разведки.

– Хорошо! Я завтра же прикажу генерал-аншефу Ушакову...

– Нет, ваша светлость! – быстро перебил Иоганн. – Не надо больше Тайной канцелярии! Позвольте мне действовать одному.

– Ну, хорошо! Делай, как знаешь, а там мы посмотрим.

– О, да, мы посмотрим! – подтвердил Иоганн и, откланявшись, пошел к себе вниз, в свою маленькую комнатку.

В коридоре внизу ждал его офицер. Сюда к Иоганну приходили не один Пуриш с Финишевичем, но и многие другие, по преимуществу немцы, которые знали о всеильном

положении Иоганна при герцоге и которым он не прочь был обыкновенно оказывать покровительство.

Иоганн сейчас же узнал офицера: это был барон Цапф фон Цапфгаузен.

– А-а, господин барон! – встретил его Иоганн. – Пройдемте ко мне... Что скажете?

– Мой добрый господин Иоганн! – начал говорить очень пониженным и сконфуженным голосом барон. – Я просто не могу понять, что такое произошло? Сначала меня приклеили к седлу, потом известный буян и пьяница Митька Жемчугов придрался ко мне и начал издеваться над немцами! Ведь это же есть оскорбление величества! Я сделал об этом заявление, но никто меня не хотел слушать, и меня посадили под арест по приказанию герцога.

– И вы отсидели?

– О, да, я отсидел.

– Но тогда, что же вы хотите, милейший господин барон? Ведь все ваше дело в прошлом и, так сказать, покончено!

– Да, но я обижен, господин Иоганн, и хотел бы отомстить...

– Кому же?

– Прежде всего, конечно, этому Митьке Жемчугову.

– Чем же я могу помочь вам?

– Но я сам еще хорошенько не знаю. Я недоумеваю, что бы мне предпринять против этого господина. Я чувствую, что должен сердиться на него, потому что я обижен; но дело в

том, что я не могу сердиться, как следует.

– Почему же вы не можете сердиться, как следует? – спросил Иоганн.

– Потому, господин Иоганн, – это я вам одному скажу, – что я влюблен. . .

– Вы влюблены?

– Да, господин Иоганн, и она прекрасна, как цветок.

Иоганн был не лишен свойственной большинству немцев сентиментальности и потому заинтересовался.

– Эта девушка, в которую вы влюблены, благородная? – спросил он.

– Вероятно, так как благородство видно в ее красоте. Но беда в том, что я даже не знаю, как ее зовут.

– Где же вы видели ее?

– Я отвозил ее в своей карете к пани Ставрошевской, после того как компания князя Шагалова спасла ее от пожара. Тут я увидел ее, и с этой минуты мое сердце принадлежит ей.

– Вас-то мне и нужно! – воскликнул Иоганн. – Мне самому необходимо разыскать эту девушку!

– Сегодня, когда меня выпустили из-под ареста, – продолжал барон, – я сейчас же направился к госпоже Ставрошевской; но она сказала мне, что молодая девушка уехала к своим родителям, а куда именно, не определила.

– Она здесь где-нибудь недалеко, под Петербургом, и вы окажете мне большую услугу, если разыщете ее.

– Но я буду искать сам для себя! Как вы думаете, господин

Иоганн, откуда начать? – спросил барон.

– Начните с Петергофа! – сказал наугад Иоганн, сам того не подозревая, что угадал верно.

XLV. Попутчики

Барон Цапф фон Цапфгаузен принялся за дело немедленно.

В те времена у офицеров занятий почти не было никаких — учили солдат капралы, а офицеры только выходили или выезжали на парады да в почетные караулы, так что у барона было свободного времени, сколько угодно. Он велел оседлать себе лошадь, сел верхом и отправился на полных рысях.

Дорога в Петергоф шла по гладкой топкой местности, однако, была достаточно укатана, чтобы спокойно ехать по ней не только верхом, но и в экипаже.

Выехав за город, барон вспомнил, что с его стороны было довольно опрометчиво отправляться под вечер одному далеко за город. Вокруг Петербурга разбойничали всякого рода люди, и ходили слухи даже об организованных шайках, которые «работали» более или менее правильно.

Тревожное состояние барона еще более усилилось, когда он увидел перед собой на дороге двух всадников, ехавших впереди него по одному с ним направлению. Первым движением Цапфа было придержать лошадь, но затем он всмотрелся своими дальнзоркими глазами и убедился, что всадники, судя по их шляпам и торчавшим сбоку шпагам, — дворяне, а потому не только не было основания бояться их, но следовало, напротив, поскорее присоединиться к ним, так

как, конечно, всем вместе, втроем, было ехать безопаснее, чем порознь.

Барон пришпорил лошадь и пустил ее вскачь.

Ехавшие впереди, слышав лошадиный топот сзади, оглянулись и, узнав во всаднике офицера, приостановились.

Цапф фон Цапфгаузен нагнал их, вежливо отдал честь и назвал себя.

– Пуриш, – сказал один из всадников в ответ, галантно, в свою очередь, приподнимая шляпу.

– Финишевич, – проговорил другой, тоже кланяясь.

– Вы в Петергоф, как я могу судить по избранной вами дороге? – спросил барон, выражаясь по привычке всех немцев особенно точно и обстоятельно.

– Вот именно, в Петергоф! – подтвердил Пуриш. – Позвольте, однако! Если я не ошибаюсь, мы с вами встречались, господин барон, у князя Шагалова, – добавил он, всматриваясь в Цапфа фон Цапфгаузена.

При упоминании имени князя Шагалова барон поморщился.

Заметив это, Финишевич поспешно проговорил:

– Совсем пустой человек – этот Шагалов. Я всегда удивляюсь Пуришу, что за охота ему возиться с таким человеком.

Барону это, очевидно, понравилось. Они разговорились, и барон, размягченный теплым вечером, чистым воздухом, верховою ездой и морем, видневшимся вдали, и наладившийся всей этой обстановкой на поэзию, стал сейчас же с

особенною сентиментальностью откровенничать и рассказывать, что он едет в Петергоф для отыскания одной красавицы, в которую он влюблен.

– Вот и мы тоже! – вырвалось у Пуриша.

– То есть вы тоже влюблены? – переспросил барон.

– Да, именно влюблены, – подхватил Финишевич, толкнув Пуриша, чтобы тот не болтал лишнего.

Истинной цели их путешествия в Петергоф Финишевич не открывал Пуришу, а сказал лишь, что они отправляются на розыски молодой девушки, и только. Встреча с «влюбленным» немецким бароном была ему как нельзя более на руку.

В том, что Цапф фон Цапфгаузен признался в своей влюбленности так сразу, почти первым встречным, не было ничего особенного: во-первых, барона подвигло к этому признанию поэтическое настроение вечера, а, во-вторых, в те времена ухаживанье за дамами и девушками и вообще всякая «любовная канитель» были в большом ходу, и молодые люди считали вопросом чести помогать друг другу во всем этом. Как с просьбой быть секундантом на дуэли можно было обратиться к совершенно незнакомому, лишь бы он был дворянин, так и за помощью в любовной интриге без стеснения можно было прибегнуть к любому, кто носил шпагу.

Из расспросов, не без искусства, впрочем, веденных Финишевичем, довольно быстро выяснилось, ради какой, собственно, девушки ехал барон в Петергоф.

Когда Финишевич убедился, что они, так сказать, – гон-

чие по одному и тому же следу, у него составилась не лишенный ехидства план действий.

Вопреки невольно вырвавшемуся признанию Пуриша, он уверил барона, что они едут в Петергоф так себе, ради прогулки и ради того, чтобы попробовать контрабандное вино на петергофском постоялом дворе.

На последнем действительно были в продаже заграничные вина, которые доставляли туда с приходивших в Кронштадт кораблей контрабандой. И на этот постоялый двор езжала петербургская знать для кутежей и попоек. Таким образом, рассказ Финишевича был совершенно правдоподобен, а так как и сам барон Цапф фон Цапфгаузен был не прочь выпить, то они вместе отправились на постоялый двор.

Однако подъехали они туда порознь и остановились в разных комнатах, сделав вид, что незнакомы друг с другом. Это именно входило в план Финишевича; барону же он сказал, что необходимо было так поступить, чтобы успешнее вести розыски, так как они с Пуришем готовы, конечно, помочь и выгоднее будет действовать разное, потому что если станет известным, зачем явился барон, то они могут продолжать дело втайне.

Нельзя сказать, чтобы эта комбинация была особенно блестяща, но барону она очень понравилась, и он, наученный Финишевичем, сейчас же начал действовать как раз вблизи той местности, где была дача князя Шагалова.

Отыскать эту дачу и направить туда барона для Финише-

вича было пустяком. Задуманный им план состоял в том, чтобы самим укрыться и, напротив, сделать как можно более явными розыски молодой девушки со стороны барона Цапфа фон Цапфгаузена. Это делалось с целью свалить все на него или, по крайней мере, запутать его в то «действие», исполнение которого потребовала в отношении Эрминии пани Мария.

Барон со своей ребяческой недалёковидностью начал свои расспросы, во-первых, на постоялом дворе, затем побывал в лавке, расспрашивал прислугу, словом, много народа видело и слышало, как человек в форме офицера ходил вокруг дачи князя Шагалова и подробно разузнавал, кто там поселился.

Поздно вечером барон Цапф, встретившись в условленном укромном месте с Финишевичем, сообщил ему, что действительно на дачу князя Шагалова переехала старушка со старой горничной и молодым лакеем и с нею ее племянница, как говорили, замечательной красоты девушка. Но живут они уединенно и ни для кого не доступно.

Финишевич, получив эти сведения, кивнул головой и обещал барону помочь тем или иным путем проникнуть на дачу. Затем они разошлись по своим комнатам, так что никто не видел их вместе.

На другой день, рано утром, Финишевич разбудил Пуриша и сказал ему, что они достаточно узнали через барона и что поэтому им можно вернуться в Петербург, а сделать,

мол, это надо потому, что у них едва хватит денег, чтобы расплатиться на постоялом дворе. Пуриш, вполне убежденный этим доводом, согласился. Они расплатились и уехали, а через несколько времени, когда жители Петергофа стали подыматься, сделалось известно, что на даче князя Шагалова убита молодая девушка кинжалом в грудь.

Как только распространился слух об этом убийстве, всеобщая молва сейчас же соединила этот случай с таинственными расспросами вчерашнего офицера. Нашлось несколько людей, которые подтвердили, что офицер все ходил тут и разведывал именно о той даче, где совершено преступление. Мало того, ночной сторож видел, как ночью с постоялого двора выходил офицер. К довершению всего обшлаг рукава на сюртуке барона Цапфа фон Цапфгаузена был в крови.

Пробраться к молодой девушке оказалось довольно легко, потому что она спала с открытым окном вследствие жаркой ночи. Злодей пробрался к ней и ограничился только убийством, не тронув ничего; словом, ясно было, что тут ни корысть, ни ограбление не играли никакой роли и что это было похоже на месть, а офицер, конечно, мог отмстить таким образом.

Все улики сложились против барона Цапфа фон Цапфгаузена.

Толпа в негодовании окружила постоялый двор и требовала, чтобы офицер был связан и доставлен в полицию.

Кто-то высказал предположение, да офицер ли он, и барон

Цапф фон Цапфгаузен был взят под стражу для выяснения личности по обвинению в ночном убийстве.

Для него все это было, как сон, – так неожиданно случилось все это, и вместе с тем казалось нелепо, непоследовательно и несуразно.

XLVI. Секретное письмо

Когда Иоганн распростился с бароном Цапф фон Цапфгаузенем и хотел было уже приняться за библию, которую он всегда читал по вечерам, к нему явился дежурный по дворцу герцога офицер и сказал, что приехал курьер из Дрездена от президента королевской палаты и министра иностранных дел Брюля с секретным письмом, которое немедленно желает вручить герцогу в собственные руки, так как оно весьма спешное.

Иоганн, недовольный, что его потревожили и что нет ему минуты покоя, болезненно сморщился и проговорил:

– Да ведь вы знаете, что герцог находится в своем кабинете и сильно не в духе, так что теперь идти к нему ни с чем нельзя!

– Я потому и обратился к вам, – пояснил офицер, – что, кроме вас, никто не может обеспокоить герцога, а, между тем, курьер говорит, что письмо важное и нужно передать его немедленно!

– Ну, что же делать? Надо идти!

Иоганн поднялся наверх, подошел к двери герцогского кабинета, очень внимательно послушал в щель и только после этого решился нажать ручку замка и войти. Он застал герцога на том же месте, у окна, где оставил его, и доложил:

– Из Дрездена, от министра Брюля курьер. Бирон кивнул

головой, не рассердившись на то, что его потревожили, и сказал:

– Пусть войдет!

Курьер явился немедленно и подал запечатанное пятью большими печатями письмо в собственные руки Бирона. Герцог, поблагодарив и отпуская его, сказал, что сделает распоряжение о том, чтобы его приняли, как следует. После этого он распечатал письмо и, пробежав глазами, с улыбкою сказал Иоганну:

– Господин Брюль так же злопамятен, как и я: он не прощает никому! Знаешь, о чем это письмо?

– О чем, ваша светлость? – спросил Иоганн.

– Да все о той же истории, когда Брюль чуть было не заплатился жизнью за преданность своему государю!

– Это нападение на него?

– Ну, да, когда он вез польские сокровища и корону королю Августу.

– Тогда на него покушался какой-то поляк?

– Да, и теперь господин Брюль пишет мне, что этот поляк находится в Петербурге, что он просит разыскать его и выдать для примерного наказания. Господин Брюль так заинтересован этим, что даже прислал ко мне экстренного курьера с личным письмом, в котором просит в личное ему одолжение немедленно исполнить его просьбу.

– Что же, ваша светлость! Если бы он повел дело путем дипломатической переписки, то это было бы так длинно, что

поляк успел бы скрыться от нас. А какие приметы, по которым можно найти его?

– Да только описание внешности, впрочем довольно общее, и указание, что зовут его Ставрошевский!

– Что же, ваша светлость, – сказал Иоганн, – это указание довольно ценно, потому что в доме пани Ставрошевской вы изволили быть сегодня утром, и в этом доме лежит доктор Роджиери.

– Но ведь Ставрошевских может быть в Польше много, и я не думаю, чтобы эта пани имела какое-нибудь отношение к господину Брюлю; в противном случае она, конечно, не проживала бы в Петербурге так открыто.

Иоганн пожал плечами.

– Как знать, ваша светлость! Все-таки мы имеем хотя что-нибудь, чтобы сделать приятное господину Брюлю.

– Да, я желаю сделать приятное господину Брюлю! – произнес Бирон.

Он сказал это вполне искренне, потому что питал к Брюлю естественно дружеские чувства: ведь он был до некоторой степени обязан ему своим герцогским титулом и, кроме того, Брюль при своем государе Августе III, курфюрсте саксонском и короле польском, был таким же полновластным временщиком, каким являлся герцог Бирон в России.

Президент королевской палаты и министр внутренних дел, Брюль держал Августа III в полной своей зависимости. Это был человек, которому в жизни так же безотчетно везло,

как и самому Бирону.

История отметила его имя как одного из злых гениев Польши или – вернее – последовательного звена цепи целого ряда причин, вызвавших ее окончательное падение. Особенную благодарность это имя в потомках вызвать не может, но в Дрездене до сих пор знаменитая терраса зовется Брюлевскою и как бы напоминает – может быть, с укоризной – о Генрихе Брюле.

Брюль был сначала камергером у короля Августа II, который пожаловал ему титул «проводжатога» своей особы в путешествиях. Брюль имел уже довольно видное придворное положение, когда в 1733 году умер Август II.

В Польше наследственность престола была уничтожена, и поляки должны были выбирать себе каждый раз нового короля после смерти прежнего. Люди думали, что своим умом они управят лучше Провидения и что их «избранник» будет лучше посылаемого им Божественным Промыслом. Потому при королевском избрании в Польше происходило все то, что обыкновенно происходит при всяком человеческом избрании, то есть интриги, подкуп, насилие. В этих интригах, подкупе и насилии принимали участие не только разные политические партии и отдельные лица в самой Польше, но и правительства государств, разумеется, желавшие видеть на польском престоле непременно своего ставленника.

Во время выборов Брюль оказал решительную помощь наследнику Августа II по саксонскому курфюршеству, Авгу-

сту III, и затем завладел им всецело, являясь таким образом своего рода польским Бироном.

XLVII. Польский Бирон

По смерти короля первым лицом Речи Посполитой польской становился примас-архиепископ. При кончине Августа II примасом был архиепископ гнезненский, Федор Потоцкий. Он вместе с национальной польской партией был за Станислава Лыщинского (Лещинского), природного поляка, имевшего связи с французским двором, так как приходился тестем французскому королю Людовику XV, женатому на его родной дочери. Но именно потому, что Станислав Лыщинский являлся таким образом на польском троне желательным лицом для Франции, враждовавшей с нами в Турции и интриговавшей там против нас, Россия не желала видеть его польским королем. Русскому посланнику в Варшаве Левенвольду было приказано не допускать избрания Станислава Лыщинского. По Литве были посланы русские агенты, не жалевшие золота на подкуп голосов против Лыщинского. Из Франции же, тоже в целях подкупа в пользу французского ставленника, было прислано более миллиона ливров.

Избирательная горячка как самое отвратительное проявление низменно-человеческой государственности разыгрывалась вовсю. Торги шли деятельно, голоса переманивались на ту или на другую сторону, как это всегда бывает, не одними наличными деньгами, но и обещаниями выгодных мест в будущем.

Из Вены ассигновали на «свободные» выборы польского короля польским народом сто тысяч червонных.

Польские паны не могли устоять против соблазна, и французский посланник маркиз Монти сманил люблинского воеводу Тарло на сторону Станислава обещанием коронного гетманства. Однако киевский воевода Потоцкий также добивался этого места и, видя, что Тарло выговорил его у Франции, обратился к австрийскому послу. А коронный маршалок Мнишек хлопотал о польском престоле для себя у Левенвольда.

Венский кабинет был против Станислава так же, как и Россия. Но беда была в том, что у русского и австрийского дворов не было готового кандидата.

Тут случай предоставил королевскую корону Польши и государственные сокровища в руки бывшего камергера Августа II, Брюля.

Захватив корону и сокровища, он отправился в Дрезден и отвез их туда к новому саксонскому курфюрсту Августу III, а затем от имени последнего повел сношения с австрийским и русским кабинетами, обещав ряд уступок в пользу Австрии со стороны Польши, если Август III будет избран королем. В России же он повел переговоры с любимцем императрицы Бироном, в том смысле, что Август III, сев на польский трон, будет способствовать в предоставлении ему, Бирону, герцогского титула Курляндии.

Примас упрекал русского и австрийского послов, что они

вмешиваются во внутренние дела Польши и мешают свободному выбору короля. Но они отвечали, что свободному выбору отнюдь не мешают, а только хотят защитить Польшу от насильно навязываемого ей Францией Станислава Лыщинского, в силу чего выборы и не могут состояться свободно.

В Варшаве была составлена на русские деньги партия «доброжелательных» панов, и ими была отправлена к русскому двору декларация, хотя, правда, никем не подписанная. «Доброжелательные» объявляли, что ввиду опасности, которая грозит вольности отечества со стороны Франции и ее приверженцев, они, «доброжелательные», обращаются к союзным державам с просьбой о защите драгоценнейшего сокровища Польши – права свободного избрания короля.

Это «драгоценнейшее сокровище Польши» – свободное избрание короля – было осуществлено примасом Потоцким в открытом поле, между Варшавой и местечком Волей. Здесь, около большого деревянного здания, занимаемого сенатом, расположилось до шестидесяти тысяч шляхты на конях, что изображало шляхетский круг, или так называемое «рыцарское коло».

Сторонники Лыщинского кричали: «Да здравствует Станислав!» Так как среди шляхты было немало «подозрительных», то примас быстро проезжал мимо них, сопровождавшая же его свита, при звуках труб и рогов, сама кричала: «Да здравствует Станислав!» – и заглушала крики противников.

Но были протесты и такие, заглушить которые оказалось

невозможно. Кастелян радомский, Малаховский, раскрыл грудь и громко сказал примасу:

– Здесь грозят изрубить в куски того, кто протестует против Станислава! Я протестую. Кто посмеет разрубить меня в куски?.. Станислав на сеймах объявлен врагом отечества, где его заслуги? Разве то вменить в заслугу, что он со шведами опустошил наше королевство?

Таким образом «свободно» был избран королем Станислав Лыщинский, и его торжественно ввели в костел Святого Яна.

Но часть панов – и немалая – не желала подчиниться этому решению и отступила в Венгрию, отбившись от приверженцев Лыщинского.

Тут в междоусобицу вмешалась Россия и двинула свое войско. Станиславу нечего было противопоставить ему, так как его коронная армия существовала только по имени. Он бежал в Данциг, и в конце концов Брюль со своим курфюрстом восторжествовал при помощи России и в угоду Эрнсту Иоганну Бирону, желавшему стать курляндским герцогом. Так судьба целой страны была поставлена в зависимость от прихоти всесильного любимца русской императрицы.

Брюль оставался затем в неизменной милости посаженного им на польский трон Августа III. Он овладел и управлял им всецело, ревниво устраняя всех, кто мог помешать ему или перебить дорогу.

Король был у него в полной власти: никто не смел даже

подойти к Августу III без разрешения Брюля. Даже лакей не мог появиться в комнате короля, не испросив предварительно разрешения временщика. Когда король шел в церковь, дорогу огораживали и не позволяли никому видеть его.

Август III любил роскошь, и Брюль держал его тем, что давал ему все средства предаваться ей. Он целые дни просиживал с Августом Третьим молча, и тот, не выпуская чубука изо рта, не поднимая глаз, спрашивал: «Брюль, деньги есть?» На этот неизменный вопрос короля Брюль всегда неизменно отвечал: «Есть, ваше величество!» Король называл сумму, которая была нужна для пришедшей ему в голову фантазии, и эта сумма действительно находилась.

Но сам Брюль позволял себе пышность еще большую, чем та, которой окружал себя король. У него было до двухсот прислужников, и свою почетную стражу он содержал гораздо лучше, чем королевскую. Держа короля взаперти, сам он показывался в обществе и любил, когда перед ним выказывали раболепство.

Достигнув такого положения, Брюль должен был чувствовать и сознавать, чего он лишился бы, если бы ему не удалось возвести Августа III на престол. А это, конечно, не могло бы удалиться, если бы Брюль не мог доставить захваченные им польские сокровища вовремя в Дрезден и сделать Августа III фактическим обладателем их. Немудрено, что человек, чуть было не помешавший ему довести благополучно сокровища, стал его злейшим врагом, которому он желал отомстить во что

бы то ни стало.

Со стороны примаса было поставлено Брюлю несколько западней и послано за ним вдогонку, но Брюль благополучно миновал все опасности, за исключением одной.

XLVIII. Что случилось с Брюлем

Брюль, увозя сокровища, главным образом боялся, что за ним будут следовать по пятам или нападут на него враспloh на дороге.

Чтобы убежать от преследования сзади, он скакал почти без отдыха, а чтобы на него не было нападения в пути, он окружил себя двенадцатью отборными, преданными людьми, которые составляли впоследствии ядро его стражи. Ехал он в карете, а его телохранители окружали его верхом.

Они делали поистине невероятные переезды, но непрерывно продолжать их все-таки не могли, потому что требовался отдых и для самого Брюля, и для сопровождавших его.

Для отдыха он пользовался остановками в городках и местечках, где менял лошадей и где считал себя в безопасности. Однако, как только наезжали за ним в местечко новые путешественники, Брюль из боязни, не погоня ли это, поспешно снимался и ехал дальше.

Во время одной из таких остановок он дождался вечера и, когда новых путешественников не приехало и было уже так поздно, что они уже не могли приехать, Брюль решился заночевать, не обратив внимания на троих гостей, остановившихся на проезжем дворе еще раньше его приезда и безмятежно игравших в кости. Но за свою оплошность он чуть-чуть не поплатился.

Эти трое людей оказались клеветрами примаса, более сообразительными, чем остальные. Они верхом по лесным тропинкам и через болота пробрались напрямки, опередив Брюля в таком месте, где проезжая дорога делала заворот, и, приехав ранее его в постоялый двор, дождались его тут, разыграв роль беспечных путешественников.

Ночью, когда все уже спали, эти трое пробрались в комнату, которую занимал Брюль.

Но он оказался все-таки предусмотрителен. С самого начала путешествия он употреблял такую хитрость на ночлегах, что делал лишь вид, будто лично занимает комнату, а в действительности укладывал спать в этой комнате троих из своих сопровождающих, сам же через окно или каким-нибудь иным незаметным образом отправлялся в карету, где у него под сидением был привинчен сундук с короной и драгоценностями.

Эта предосторожность спасла его.

Клеветры примаса, проникнув в якобы занимаемую Брюлем комнату, нарвались там на трех самых сильных и ражих людей из его свиты и чуть не были сами уничтожены ими. Произошла настоящая свалка, одна из тех, какие, впрочем, довольно часто случались на заезжих дворах и в гостиницах того времени.

Приверженцам примаса пришлось бы плохо, если бы к ним на помощь не подоспел странствующий приказчик, который, несмотря на свои почтенные годы и скромное поло-

жение, великолепно владел шпагой, кстати оказавшейся у него на поясе.

Люди Брюля были побеждены, но только к утру выяснилось, что сам он остался цел и невредим и успел ускакать в карете дальше с девятью остальными, спавшими на сеновале так крепко после целого ряда утомительных переходов, что не слышали происшедшей свалки. Кучер едва мог добудиться их, чтобы следовать за Брюлем.

Под видом странствующего приказчика пробирался в Варшаву не кто иной, как сам Станислав Лыщинский, новый избираемый король польский⁶. Поэтому было немудрено, что он умел владеть шпагой.

Людей примаса, после неудачи их с Брюлем, он уговорил возвратиться вместе с ним в Варшаву, потому что все равно, если бы они даже и догнали теперь Брюля, они, как опознанные им, не могли уже ничего сделать. Это рассуждение было совершенно справедливо, и они возвратились в Варшаву.

Однако Станислав не открылся им вплоть до приезда туда; но приехав, он, разумеется, из чувства благодарности приблизил к себе троих, выказавших такую преданность по отношению к нему, людей.

Среди этих троих Ставрошевский был главным действующим лицом, и о нем быстро сложились целые легенды. На самом деле, собственно, король помог ему избавиться от опасности; но молва, наоборот, приписывала Ставрошевскому

⁶ Исторический факт.

спасение короля.

Ставрошевский сделался героем дня и первым лицом при короле в то время, когда Станислав, после «свободного» его избрания сеймом, побывал в костеле Святого Яна и принял уже королевские почести.

Тут, в чаду успеха, Ставрошевский женился на дочери гродненского магната Грембло, Марии.

Они еще справляли медовый месяц, как вдруг Ставрошевский бежал со Станиславом Лыщинским в Данциг.

Последовавшие затем неудачи короля, развенчанного силою русского оружия, немедленно отразились и на Ставрошевском, и ему пришлось теперь скрываться от мести все сильного временщика Брюля, так как о его подвиге, то есть нападении на Брюля, слишком много кричали. Брюль в числе первых же своих распоряжений отдал приказ схватить Ставрошевского и предать суду за государственную измену. За государственную измену полагалась смертная казнь, а само понятие преступления было очень растяжимо, и Ставрошевскому пришлось скрыться.

Однако мстительный Брюль не успокоился; он не сменил гнева на милость и продолжал находить следы Ставрошевского, хотя последнему до сих пор удавалось убегать от его преследований.

Его жена, пани Мария, у которой вскоре вышли недоразумения с родителями, сделалась типичной авантюристкой, одной из тех, каких было много среди общества восемнадца-

того столетия.

Впрочем, она уже от природы была такова, что романтически-щекотливая неопределенность ее положения нравилась ей, и она переезжала с места на место, добывая какими-то неведомыми, подчас доходящими до гениального изощрения, путями себе средства. Она побывала и в Париже, и в Венгрии, и при разных дворах микроскопических немецких государств, и, наконец, очутилась в Петербурге, прожив пред тем довольно долго в Москве.

Мать пани Марии была русская, да и сам Грембло давно обрусел, любил русский язык и русские обычаи как давнишний служака русской армии, еще времен Петра Великого. Он удалился в Гродно, к себе, в 1730 году, после восшествия на престол императрицы Анны Иоанновны, не желая подчиниться правлению немцев и в особенности курляндского конюха Иоганна Бирона. Поэтому он и на сейме стоял за Станислава как за кандидата, нежелательного России. Таким образом, пани Мария отлично говорила по-русски, имея вообще большие способности к языкам.

Ставрошевского звали Станиславом, и пани Марии в своих скитаниях случалось уже встречать «Стася» обыкновенно в преображенном и измененном виде, так что она ничуть не удивилась, увидев его у себя под фамилией Финишевича.

При этих встречах, которых, может быть, Стась Ставрошевский и сам искал, он производил на жену невыгодное для себя впечатление как опустившийся, несчастненький чело-

век, не сумевший захватить счастье, когда оно было у него в руках, раз навсегда промахнувшийся в жизни, дошедший до ничтожества. Любить его она никогда не любила, а вышла замуж, одурманенная его тогдашним успехом; но этот дурман сейчас же прошел у нее, как только Ставрошевский вместо первого лица в государстве стал преследуемым преступником, объявленным вне защиты законов. Она даже возненавидела Стася, потому что видела в нем помеху устроить свою судьбу так, как она хотела. Выгодным замужеством она уже не могла выйти на широкую дорогу, имея такого мужа, как Ставрошевский.

XLIX. Талисман

Пани Мария делала доктору Роджиери перевязки сама и ухаживала за ним так внимательно и с таким рвением, что он, наконец, пришел в себя, и это явилось чрезвычайно благоприятным признаком в смысле его выздоровления. Он открыл глаза, увидел перед собой Ставрошевскую, сделал несколько вопросов, узнал, что он у нее в доме и что она сама ходит за ним. Затем он попросил есть. Пани Мария дала ему бульона и предложила вина; он съел почти полную чашку бульона и сделал несколько глотков вина, после чего почти сейчас же заснул благодетельным для него сном.

Пани Мария сидела в кресле и смотрела на красивое лицо доктора Роджиери. Он ей нравился. Ей казалось, что как будто было много общего в их судьбе. Да это и на самом деле было так.

В сущности, доктор Роджиери был таким же бездомным существом, как и она, скитался по миру, добывая себе своим собственным умом средства. Натура у него, по-видимому, была такая же широкая и требовательная, как и у нее, но и ум тоже был недюжинный, потому что он умел, как и она, в сущности, из ничего составлять себе обстановку, по крайней мере, кажущейся роскоши и несомненного довольства.

«Вот если бы мне, – думала пани Мария, – попался такой человек вместо этого героя на маленькие дела, Стася Став-

рошевского!.. Этот не потерялся бы пред несчастьем, а сумел бы выйти во всех случаях победителем. А разве это так трудно?! – и улыбнувшись, она словно оглянулась в этот миг на все пережитое ею и убедилась, что сколько раз в этом пережитом она должна была, казалось, пасть, пожалуй, ниже своего мужа, но всегда находила тот или иной выход и заставляла как будто события даже подчиняться себе. – Да, с этим человеком, – продолжала она думать, глядя на Роджиери, – я могла бы пойти рука об руку, и мы оба достигли бы всего, чего захотели бы!»

– Так в чем же помеха? – спросил вдруг доктор Роджиери, открывая глаза.

Пани Мария, совершенно не ожидавшая этого, вздрогнула и, ничего не понимая, проговорила, испугавшись, что итальянец опять забредил:

– Какая помеха? О чем вы говорите, синьор?

Они говорили по-французски, но она вставляла нарочно итальянское обращение.

– В чем же помеха, – опять проговорил Роджиери, – чтобы осуществить ваши мысли?

– Мои мысли? – удивилась пани Мария. Ей стало как будто даже жутко. – Но почему вы знаете их?

Доктор Роджиери, чувствовавший себя значительно бодрее после сна, заговорил почти как совсем здоровый.

– Вы забыли, синьора, что я – чародей и алхимик и что читать мысли других людей входит в задачу моего ремесла!

Я уже проснулся несколько времени тому назад, но лежал с закрытыми глазами, потому что чувствовал музыку ваших мыслей. Простите, иначе выразиться не могу! И я боялся нарушить эту музыку и с затаенным дыханием следил за вашими мыслями. Да, я тоже одинок, как вы, и я был бы счастлив иметь возле себя друга, с которым мог бы идти рука об руку дальше!.. Несчастный случай, приведший меня к вам, приносит мне, по-видимому, счастье. Так, мы сами не знаем, что для нас в этой жизни – зло и что – добро!.. Благодаря вашему уходу за мной, да, только благодаря ему, я теперь поправлюсь, это я знаю наверное! В своей жизни я знал много женщин; одни из них были влюблены в меня, другие преклонялись пред моими знаниями, иные боялись меня, иные увлекались таинственностью, которою я окружен; со многими из них я испытывал, не без взаимности, минуты восторга. Эти минуты бывали прекрасны, но никогда я не испытывал в жизни того, что называется на обиходном языке простым, здоровым счастьем. До сих пор жизненный огонь жег меня, но не давал мне теплоты, и теплоту узнал я только здесь, у вас, в вашем доме, куда я был принесен умирающий и где я умер бы, если бы не было вашей теплоты, согревшей меня. Ваш трогательный, внимательный уход за мной возвышался до чистой, стоящей выше упрека, ласки, а такой ласки я еще не знал в жизни и не знал, как хороша она. Теперь, когда я узнал ее, понятно, что я хочу и дальше не отказываться от нее, и мне кажется, что нет помехи, чтобы соединиться нам!

Ведь вы – вдова, а я холост. Оба мы – католики, и наш брак может быть заключен, когда вы его пожелаете! – и, проговорив это, Роджиери протянул руку пани Марии.

Она протянула свою и ответила ему пожатием, после чего произнесла:

– Синьор, не беспокойте себя! Много говорить и волноваться вам вредно! Благодарю вас, но не будем ничего решать теперь, пока вы окончательно не поправитесь! Тогда же я буду рада возобновить наш теперешний разговор!

Конечно, не такова была пани Мария, чтобы откладывать такой важный разговор на неопределенное время, не имея на то серьезных причин.

А эти причины состояли, во-первых, в том, что она не была вдовой, а, во-вторых, что она была православною, потому что ее мать была русская. Религия, разумеется, не составляла для нее препятствия, но существование Стася Ставрошевского служило помехой, о которой она не хотела упоминать сейчас, и потому отложила разговор.

Роджиери улыбнулся ей и опять закрыл глаза, а она осталась сидеть возле него, предавшись вновь мечтам, на этот раз особенно сладостным, потому что осуществление их было уже воплощено чуть ли не во всемогущем докторе Роджиери. Теперь дальнейшая жизнь казалась ей уже не такой неопределенной, как прежде, и не только не безнадежной, а, напротив, полной совершенно определенных благ.

Наука доктора Роджиери была не совсем чужда ей, и для

нее был поднят хотя и маленький уголок той завесы, которой, вероятно, почти не существовало для доктора Роджиери.

Пани Мария верила в возможность делать золото и верила, что если нет еще этой возможности у Роджиери, то он непременно добьется ее. Он был красив и мужественен: любая женщина позавидует ей. А – главное – теперь конец этой жизни, когда не знаешь, что станет с тобой на завтрашний день, конец зависимости от Тайной канцелярии, на которую она работала, повинувшись условленному выражению «Струг навыверт».

Она работала на Тайную канцелярию не столько ради грошей, которые получала оттуда, сколько ради того, чтобы обезопасить себя от разных неприятностей с властями, весьма легко возможных, если бы всплыло кое-что из ее полной случайностей жизни.

Под защитой доктора Роджиери она могла быть спокойна в отношении всего. Вся ее судьба отныне резко менялась.

«А все это – талисман!» – решила вдруг пани Мария, вспомнив о круглой золотой пластинке, которую она сняла с шеи Эрминии.

Ведь в самом деле, как только этот талисман очутился у нее в руках, так к ней в дом само собой пришло счастье в лице раненого доктора Роджиери, и даже сам герцог Бирон посетил ее дом.

И пани Марии вдруг захотелось посмотреть на свой та-

лиман, потрогать его, словно еще более возбудить его силу своим прикосновением к нему. Она встала со своего места, прислушалась к ровному дыханию доктора Роджиери и, на цыпочках выйдя из комнаты, пошла к себе наверх, где в секретном ящике бюро в ее спальне был заперт золотой талисман.

Л. Силки

Радостная, чувствуя в себе необыкновенную легкость, словно помолодев на десять лет, пани Мария вошла к себе в комнату, не торопясь отперла бюро, делая те плавные движения, которые свойственны только счастливым людям, умеющим смаковать свое счастье.

Она открыла секретный ящик, заглянула туда и, вдруг побледнев, стала отпирать другие ящики и с увеличивающейся быстротой перебирать все, что попадалось ей под руку в бюро. Ни в секретном ящике, нигде в другом месте талисмана не было.

Пани Мария, за минуту пред тем столь счастливая и довольная, преобразилась в совершенно иную, до болезненной дрожи встревоженную и расстроенную. Она металась, ища в своем бюро, уже бессмысленно перебирая бумаги и вещи.

– Не трудитесь искать! – раздался возле нее голос Митьки Жемчугова, и это было так же внезапно, как раздавшийся голос доктора Роджиери, но только тот вещал счастье, а в этом слышалось что-то роковое, и пани Мария чувствовала это.

– Вы откуда здесь? – крикнула она. – Как вы смеете входить ко мне без спроса?.. Откуда вы взялись?

– Я был за этой гардиной! – показал Митька.

– Но это же – насилие! – возмутилась Ставрошевская. – Я

позову людей, чтобы они выгнали вас!

– Не будем горячиться, пани Мария! – спокойно проговорил Митька. – Вы ищете талисман, снятый вами с Эрминии! Вы не найдете его, потому что он у меня!

– Вы осмелились забраться в мое бюро! – вне себя от негодования и злости опять закричала пани Мария. – Я позову людей и велю обыскать вас! – и она взялась за колокольчик.

– Струг навыверт! – произнес Митька, отстраняя Ставрошевскую от колокольчика.

– Никаких «стругов» я не хочу больше знать!.. – начала было она.

Но Жемчугов вдруг взглянул на нее так, как она не ожидала, и она затихла на полуслове.

– Вот именно, пани Мария, от нас не так легко отделаться, как вы думаете!.. Раз связавшись с нами... Нет, пани! Недостаточно объясняться во взаимном влечении с доктором Роджиери для того, чтобы сказать: «Не надо никаких „стругов“!» Раз вы узнали этот условный пароль, вы должны подчиняться ему и будете подчиняться всегда.

– Если вы думаете пугать меня Тайной канцелярией, – возразила Ставрошевская, – то вы, вероятно, знаете, как герцог Бирон относится к доктору Роджиери, и через него я сумею найти себе защиту. Как вы там не считаете себя силой, но герцог Бирон сильнее вас. Однако откуда вы знаете о моем разговоре с доктором Роджиери?

– Конечно, любопытство с вашей стороны весьма понят-

но. Но если вы не удивляетесь фокусам вашего итальянца, то допустите, что и другие могут делать тоже фокусы, и удовлетворитесь этим, тем более что, если вам угодно будет выслушать меня, вы, может быть, узнаете нечто и еще более удивительное. Присядьте и слушайте спокойно!

– Но я не могу вас долго слушать: я должна вернуться к больному.

– Поспеете! Впрочем, я не задержу!.. Неужели, пани, вы думаете, что канцелярия, взяв вас к себе на службу, была так наивна, что думала держать вас в зависимости при помощи исключительно денег, которые вы получали? Нет, пани, у нас не так глупы, чтобы не знать, что одними деньгами тут ничего не поделаешь, ибо в таких случаях преданность обыкновенно исчезает как раз в ту минуту, когда деньги от канцелярии перестают быть нужны, то есть является другой источник, более приятный или более щедрый. У нас, кроме денег, есть еще средство держать вас в повиновении.

– Есть средство?

– Да, пани, и об этом мы молчали, пока вы были послушны; но теперь я должен предостеречь вас о том, что нам известно о письме к Трубецкому...

– Что же вам известно о письме к Трубецкому? – несколько упавшим голосом спросила Ставрошевская.

– Что пан Вишневецкий при избрании польского короля на престол, когда выяснилось, что Станислав Лыщинский неугоден России, сам пожелал занять королевский престол

и для этого вошел в сношения с русскими вельможами, однако, помимо герцога Бирона, который поддерживал курфюрста саксонского Августа Третьего. Конечно, затея искать поддержки у императрицы Анны Иоанновны помимо Бирона, да еще вопреки его желаньям, была глупа, но затеи дальновидных политиков всегда глупы, главным образом потому, что они не осуществляются. Но Вишневецкий воображал, что он может через Трубецких и Куракиных, которые принадлежат к польским родам и состоят в родстве с Вишневецким, добиться своего при русском дворе.

– Все это очень может быть, – сказала Ставрошевская, – но все это случилось так давно, что я решительно ничего не помню!

– Случилось это не так уж давно – всего семь лет тому назад, и вы это отлично помните. Когда ваш Стасю прогорел со Станиславом Лыщинским, вы, как неопытная еще в политических делах, перекинулись к Вишневецкому, воображая, что он будет иметь успех, и приняли деятельное участие в пересылке и передаче корреспонденции Вишневецкого к сенатору Трубецкому. Трубецкие и Куракины всегда были слабы в русском деле. Ну, конечно, у них не вышло ничего, и сенатор Трубецкой избежал мести Бирона только потому, что нельзя было найти решительно никаких доказательств его сношений с Вишневецким. Иначе несдобровать бы ему за то, что он вздумал перечить Бирону и мешать ему в достижении герцогской короны. Ведь Вишневецкий не догадался

предложить ее Бирону, а вздумал действовать через Трубецкого, который удовольствовался бы гораздо меньшим вознаграждением. Поскупился пан Вишневецкий, ну, и проиграл!

– Но что же из всего этого следует?

– А то, пани Мария, что у вас в руках застряло одно письмо, а в этом письме Вишневецкий жалуется князю Трубецкому, что давно не получал от него писем, напоминает о происхождении их фамилий от одного рода Гедиминова, вместе с Куракиными, и просит его еще и еще раз противодействовать людям, советующим императрице поддерживать курфюрста саксонского. Конечно, мол, главным таким советчиком является Иоганн Бирон, потому что немец всегда рад пособить немцу, а пора-де нам этих немцев вовсе убрать, в особенности, курляндского конюха.

– Откуда вам известно об этом письме? – совершенно невольно вырвалось у пани Марии.

– Ну, вот опять, откуда мне известно! – протянул Митька. – Я уже раз навсегда сказал вам, что мы способны показывать фокусы не хуже вашего доктора Роджиери!

– Ну, хорошо! – заговорила Ставрошевская. – Вы знаете об этом письме! Ну, в крайнем случае, вы можете рассказать, что оно у меня есть. Ну, конечно, это может повредить мне, но уж не настолько, чтобы из-за этого я должна была оставаться у вас в рабской зависимости.

– Я тоже думаю, что вам мало этого. Но вот видите ли, пани, ведь нельзя жить так, как вы живете, на те деньги, кото-

рые вы получаете из канцелярии. Любезники у вас, конечно, есть, но прочной связи вы не имеете ни с кем из мужчин, и никто из них вас не содержит!

– Послушайте, сударь...

– Нет, сударыня, уж послушайте вы! – перебил ее Митька. – Итак, денег, которые вы получаете из канцелярии, на ваше житье хватать вам не может!

– Но мне присылает отец!

– Неправда! Отец вас знать не хочет. Мы всегда хорошо знаем во всех подробностях семейное и всякое положение наших служащих. Значит, вы относительно себя не извольте выдумывать!.. Отец никаких денег вам не посылает, а своих собственных у вас нет. А живете вы на средства князя Трубецкого, потому что, когда подойдут платежи (долгов у вас пропасть), так вы сейчас к Трубецкому с напоминанием, что есть, мол, у вас письмецо и что можете вы его завтра же довести до сведения герцога. Ну, а старый сенатор трусит и откупается от вас!

– Да что же вы – маги и волшебники? Но все-таки я еще не могу понять, как вы можете воздействовать на меня?

– А для этого вам нужно знать одно обстоятельство: что письмецо, которое служит источником вашего благосостояния и которым вы пугаете князя Трубецкого, больше не у вас...

– А где же?

– У меня, сударыня, в кармане: я прихватил его вместе с

талисманом! Как же вы так неосторожно держите такие важные документы в таких детски скрытых местах, как секретный ящик вашего бюро!

Пани Мария кинулась к бюро и сейчас же убедилась, что там нет и письма, исчезновения которого она сразу не заметила, будучи слишком поражена пропажей талисмана. Она смерила взглядом Митьку Жемчугова, как бы надеясь, не сможет ли справиться она с ним одна; но, тотчас поняв, что это было бы безумием, схватила звонок и задребезжала им так, что его звук раздался по всему дому.

Сидевшие в прихожей гайдуки опрометью кинулись наверх, и при их появлении Ставрошевская, задыхаясь, могла только проговорить, показав на Жемчугова:

– Схватить... связать!..

Митька сидел невозмутимо, рассматривая свои ногти, предоставляя ей на этот раз делать все, что она хочет.

Приказ пани Марии гайдукам был очень энергичен, но они не тронулись с места и с какой-то подлой улыбкой смотрели на Жемчугова.

– Взять! – тихо произнес он, – и двое гайдуков подошли к Ставрошевской и взяли ее за руки. – Вы видите, – сказал Митька, – что ваши слуги слушаются меня больше, чем вас!.. Теперь, как вам угодно, пани: чтобы они сейчас отвели вас в канцелярию, и там мы начали по известному вам письмецу дело, или чтобы они вернулись опять к вам в прихожую, а мы спокойно продолжали наш интересный разговор?

– Пусть вернутся на место!.. – вздохнув, ответила Ставрошевская.

– Вот так-то лучше, пани!.. Ступайте! – обратился Жемчугов к гайдукам, и в его голосе и манере вдруг почувствовалось нечто весьма похожее на голос и манеру Ушакова, когда тот необыкновенно мягко и деликатно отдавал свои приказания.

Когда гайдуки удалились, пани Мария посмотрела на Митьку, искренне удивляясь тому, как она до сих пор не распознала, каков был на самом деле этот человек.

– Но вы не думайте, – продолжал Митька, как будто со стороны Ставрошевской никакой выходки не последовало, – вы не думайте, что мы так легко сделаем в отношении вас скандал и используем грубую силу с приведением вас в Тайную канцелярию! Достаточно будет бесспорного доказательства князю Трубецкому, что письма Вишневецкого к нему в ваших руках больше нет – и ваших долгов, которых опять набралось у вас порядочно, платить вам будет нечем, и вы сядете в очень скверное положение, потому что нужно порядочно времени, пока еще доктор Роджиери сделает в своей реторте золото, годное для уплаты кредиторам! Таким образом, пани, вы попались к нам в силки, и лучше вам пойти на условия, которые я вам предложу, чем ссориться, сердиться и беспокоить ваших холопов, а главное – доктора Роджиери, ВАШИМ ЗВОНКОМ.

II. Условие

– Какие же это условия? – спросила пани Ставрошевская.

– Для вас очень хорошие и отнюдь не неприятные! – поспешил успокоить ее Митька. – Прежде всего все должно остаться так же, как было: и ваш дом, и прислуга, и получка денег от Трубецкого. Князь Трубецкой, конечно, не будет знать, что письма у вас уже нет, и вы по-прежнему сможете выманивать у него деньги, сколько будет вам угодно. Мало того, даже ваши отношения к доктору Роджиери, только что так хорошо установившиеся, не должны быть нарушены, а, напротив, должны поддерживаться всеми возможными средствами, и, если хотите, в этом вам будет даже оказана помощь!

Пани Мария сразу повеселела, убедившись, что деспотизм Митьки Жемчугова, имевшего в своих руках средства заставить ее делать все, что ему угодно, не так уже страшен.

– Хорошо! – сказала она. – Но что же я должна делать взамен всего этого? – спросила она, боясь, что за такое свое благополучие ей придется заплатить слишком дорого.

– Взамен всего этого от вас потребуется тоже очень немного: во-первых, дружеское расположение ко мне! Не беспокойтесь, я не претендую ни на какую интимность, а именно желаю только вполне дружеских, хотя бы по виду, отношений. Во-вторых, вы будете содействовать моей дружбе с док-

тором Роджиери. Он мне нравится, и я желаю сойтись с ним как можно ближе. Его болезнь тут как нельзя более кстати; я буду помогать вам ухаживать за ним. Вот и все.

– В самом деле вы больше ничего не потребуете от меня?

– Ничего.

– Все это очень странно! На первый взгляд ваши условия не только приемлемы, но и весьма заманчивы; но я, право, не знаю...

– Да вам и знать нечего, так как вам выбирать нельзя, а надо слушаться. Будьте же довольны, что налагаемое на вас послушание для вас легко и вполне совпадает с вашими собственными намерениями и желаниями.

– Но все-таки я должна предупредить вас, что доктор Роджиери читает в мыслях, и потому лукавить пред ним нельзя.

– Да вы и не лукавьте, а прямо даже так и скажите ему, что я – для вас нужный человек и желаю быть в дружбе с ним, а вы будете способствовать этой дружбе. Что же касается меня, то будьте покойны: никакой доктор Роджиери моих мыслей не прочтет!

– Вы так думаете?

– Уверен в этом, так как имею тому доказательства.

Пани Ставрошевская, видимо, колебалась и, наконец, как будто лишь с трудом решившись на предложение Жемчугова, сказала:

– Еще одно я должна сказать вам! Если вы рассчитываете, войдя в дружбу доктора Роджиери, подсыпать ему како-

го-нибудь зелья...

– Пани Мария, помилосердствуйте! – рассмеялся Митька Жемчугов. – Я на такие дела не способен, это – раз; а второе тут то, что ваш доктор Роджиери мне нужен совершенно здоровым и невредимым, в твердом уме и таковой же памяти. Уверяю вас, что я вполне искренне хочу стать его другом.

– Но зачем это вам?

– Всякому хочется разбогатеть, а доктор Роджиери как алхимик сможет сообщить секрет производства в глиняном горшке золота. Согласитесь, что интересно иметь другом такого человека!..

– Ну, вы можете, – возразила пани Мария, – разбогатеть и без секрета делания золота! Слишком много у вас житейской сметки! И это вы так себе говорите, зря. Хорошо, я согласна, но буду следить за вами!

– О, это вы можете, сколько вам угодно.

– Но скажите, пожалуйста, теперь, когда мир восстановлен между нами, каким образом вы узнали о моем разговоре с доктором Роджиери?

– Извольте! – усмехнулся Митька. – Между друзьями не должно быть тайн. Ваш разговор я подслушал, стоя у двери. Ваши гайдуки пропустили меня беспрепятственно, потому что вы видели, что они повинуются мне больше, чем вам... Кстати, не вздумайте выгонять их! Это будет бесцельно! Все равно те, которых вы возьмете вместо них, будут опять наши. Так что не трудитесь! Ну, а затем я поднялся наверх и

взял, что мне было нужно из вашего бюро. Уж очень просто в нем секретные ящики. Вот вам полная откровенность как истинному другу. А теперь до свиданья!.. С завтрашнего дня начнем вместе ухаживать за доктором Роджиери, сейчас же оставляю вас одну, потому что вам, кажется, неважно больше!

Он церемонно раскланялся и вышел.

Ставрошевская должна была сознаться, что он был прав, силы оставляли ее; дольше она не могла владеть собой и, как только Митька исчез за дверью, упала в кресло и разразилась нервными, почти истерическими рыданиями.

Этот новый ее «друг» был теперь для нее самым лютым, заклятым врагом.

А Митька, как ни в чем не бывало, посвистывая, возвращался к себе домой и там встретил ожидавшего его князя Шагалова.

На князе лица не было.

– Что с тобой? – спросил Жемчугов.

– Куда ты провалился? – сказал ему Шагалов. – Я тебя ищу повсюду! Ко мне прискакал верховой из Петергофа: молодая девушка на моей даче сегодня ночью убита!

– Да не может быть? Сейчас я велю заложить тройку; едем в Петергоф.

– Не лучше ли верхом? Скорее будем! – предложил Шагалов. – У меня тут верховая!

Они вышли во двор, но верховой лошади Шагалова не

оказалось. Мальчонка-поваренок рассказал, что видел, как на эту лошадь вскочил Ахметка и ускакал.

Шагалов и Митька сами помогли кучеру заложить тройку и помчались на ней с серьезными, озабоченными лицами, видимо, сильно потрясенные случившимся.

А в это время к пани Марии явились Финишевич с Пуришем и потребовали от гайдуков, чтобы непременно доложили о них.

Ставрошевская, едва оправившись после визита Жемчугова, велела принять их, но вошел к ней один Финишевич. Пуриш остался ждать его на улице.

– Ну, дело сделано, моя кохана! – потирая руки и расправляя затем рыжие усы, начал с самодовольством Финишевич.

Пани Мария, отстраняясь от него, сделала шаг назад и сердито проговорила:

– Я просила вас не называть меня коханой! Какое там у вас дело кончено?

– Эрминии больше нет на свете! – понижая голос до шепота, сказал Финишевич.

Кровь отлила от лица пани Марии, и она, бледная, дрогнула всем телом.

– Я ничего этого не знаю и знать не хочу! – произнесла она, отворачиваясь.

– Как же можно, пани?! Однако ж мне было тобою обещано. Я желаю получить хоть что-нибудь в счет.

Ставрошевская закрыла лицо руками. Только что улыб-

нущееся ей счастье было мимолетно – лишь пока оставался у нее талисман.

Но этот талисман у нее взяли, и с ним все пропало. Опять явился этот ненавистный человек, исполнивший уже страшное дело, слова о котором случайно, в минуту потери душевного равновесия, сорвались у нее.

Она, конечно, не могла ожидать, что они будут приведены так скоро в исполнение, но теперь, после своего разговора с доктором Роджиери, не хотела слышать ни о каких гнусностях своего супруга и вообще испытывала одно только чувство – желание поскорее отделаться от него.

– Но, может быть, вы лжете? – спросила она, мысленно желая, чтобы Стась действительно сказал ложь.

– Я к Бога кохам, я сказал правду!

– Но в таком случае спасайтесь же скорее! Бегите! Спрячьтесь!.. Ведь вас могут изловить!

– О, не бойтесь! Дело сделано очень чисто! Все улики против другого. Он схвачен, а раз один виновный найден, то больше искать не будут. Успокойся, Мария! Стась все еще годен на что-нибудь и может сострять нечто, схоронив хорошо концы в воду!

Не успел он договорить, как дверь в комнату растворилась, и бироновский картавый немец Иоганн вошел поспешными шагами.

– Я к вам являюсь не как гость, – заявил он, – и прошу извинения, что должен исполнить свой долг, несмотря на то

что мой друг пользуется вашим гостеприимством и уходом. По поручению его светлости герцога, который получил непосредственные сведения о том, что некий Станислав Ставрошевский, обвиняемый в государственном преступлении, находится в России, мне велено допросить вас, не родственница ли вы ему и не известно ли вам его местопребывание?

– Ставрошевский, которого вы ищете, – ответила пани Мария, – мой муж и находится здесь, пред вами... Вот он! – показала она на Финишевича.

Она сделала это, чтобы разрубить разом весь узел тенет, которые начали было снова опутывать ее. Выдавая Стася, она сразу отделялась от него и вместе с тем доказывала, что не имеет с ним ничего общего, потому и не должна отвечать ни вместе с ним, ни за него.

Иоганн приехал в сопровождении рейтаров, и те немедленно арестовали Финишевича.

Стась не сопротивлялся. Он только оглянулся на пани Марию, когда его уводили, и проговорил по-польски:

– Пани, вы не сдержали условия.

ЛII. В Петергофе

Иван Иванович Соболев не слышал ног под собой, когда переехал в Петергоф в качестве слуги при госпоже Убрусовой.

Сама Убрусова и ее старая наперсница Мавра не были посвящены в маскарад Соболева. Грунька знала все и очень ловко помогала Ивану Ивановичу скрывать свое барство, а вместе с тем оставаться наедине с Эрминией.

Последняя сразу узнала в Соболеве того молодого человека, которого она встретила, когда ей удалось бежать из заколоченного дома. Она видела в этой их вторичной встрече и в том, что Соболеву выпало на долю оберегать ее, предопределение судьбы. Молодая, мечтательная, она видела в Соболеве действительно посланного ей Промыслом рыцаря, защищающего ее от злого волшебника.

Впрочем, до некоторой степени это было на самом деле так. Благодаря содействию Груньки, очень ловко отвлекавшей госпожу Убрусову и Мавру, Соболев мог свободно разговаривать с Эрминией, и из этих разговоров узнал, что она родилась далеко, в свободной горной стране, что во время набега она была захвачена турками, затем отвезена в Константинополь и продана там в рабство. Но, по счастью, купил ее не евнух турецкого паши для гарема своего господина, а польский важный человек, который взял ее к себе в дом

вместо дочери, отвез в Гродно, и там она прожила семь лет, окруженная заботами и в полном довольстве. Ее благодетель, важный поляк, и его жена говорили ей, что она принесла им счастье, любили и баловали ее как родную дочь.

Эрминия жила в Гродно довольная и счастливая до тех пор, пока не приехал к ним итальянец, доктор Роджиери, один из астрологов и кудесников покойного короля Августа II, любившего окружать себя подобными людьми. Роджиери показывал разные чудеса, делал необыкновенные предсказания приемному отцу Эрминии, и последний уверовал в его знания и был без ума от него. Но каждый раз, когда Роджиери подходил к Эрминии, она чувствовала необыкновенную тяжесть в голове, словно какая-то тяжелая, свинцовая рука давила ей темя. И затем очень часто охватывал ее, словно теплая вода, глубокий сон, при котором она впадала в полное забытие.

Однажды – она совершенно не помнит, как – она очнулась от своего сна в каком-то городе, должно быть, немецком, в совершенно чуждой ей, никогда не виданной комнате; при ней очутилась какая-то немка, которую звали Амалией и которая говорила ей, что она должна забыть польского пана и подчиниться доктору Роджиери. Когда она плакала, твердила о том, что хочет вернуться в Гродно, и просила отпустить ее, появлялся доктор Роджиери, клал ей на голову свою свинцовую руку, и она теряла сознание окружающего.

Затем такая же точно сверхъестественная сила перенес-

ла ее в Петербург, и она увидела себя в каком-то странном, с трех сторон заколоченном доме с окнами, выходящими только с одной стороны в сад. Последний был великолепен. Но она хотела домой. В Петербурге она, кроме Амалии и доктора Роджиери, никого не видела и не помнит, чтобы кто-нибудь приходил к ним в заколоченный дом.

Для Соболева это известие было особенно ценно. Он мог успокоиться, что если Бирон, как он знал, и приезжал ночью в дом, то Эрминия спала в это время, а Бирон не осмелился еще показаться ей, хотя было очевидно, что итальянец что называется готовил для него молодую девушку.

В представлении Эрминии Роджиери был колдуном, и от него ее спасал ее рыцарь, которого она видела в Соболеве. Разговаривая с Иваном Ивановичем, она вдруг спрашивала о колдуне: «А он не придет сюда?» – и Соболев клялся ей, что он никакого колдуна и никого другого к ней не пустит и что она может быть совершенно спокойна.

Соболев был так счастлив, что в роковое утро, узнав о том, что Эрминия ночью убита кинжалом, не поверил этому и с ним сделалось нечто особенное, похожее не то на столбняк, не то на безумие. Он сидел у себя в комнате, смотрел в одну точку, разводил руками и бормотал:

– Как же это так?.. Или в самом деле талисман оберегал ее лучше, чем я?

О талисмানে, надетом на Эрминию еще в детстве, в родных ее горах, Соболев знал из ее же рассказов; кроме того,

ему было известно, что этот талисман Ставрошевская сняла с нее. Об этом рассказала Грунька, когда Эрминия, уезжая, спохватилась золотой пластинки, висевшей у нее на груди. Грунька рассказала также, куда пани Мария спрятала талисман, и показала Митьке Жемчугову, как открыть секретный ящик бюро. Она видела много раз, как это делала Ставрошевская. Митька обещал, что в первый же приезд в Петергоф привезет Эрминии ее талисман.

Теперь почему-то именно история с этим талисманом задела в мозгу Соболева, и он сидел, размахивал руками и повторял:

– Как же это так? Или в самом деле талисман...

На улице послышалась по мягкой, немощенной дороге частая дробь лошадиных копыт, потом шум, и к Соболеву влетел, как сумасшедший, Ахметка. Он необыкновенно смешно вращал глазами и, весь красный, кричал и спрашивал:

– Где она?.. Пустите меня к ней!..

Грунька старалась удержать его. Однако Ахметка рвался к Соболеву и повторял:

– Иван Иванович! Пусти меня к ней!

– К кому тебя пустить?.. Зачем? – словно разбуженный спросил, наконец, Соболев.

– Скажи, где она?.. Я сам к ней пойду! – проговорил Ахметка. – У меня есть лекарство!.. Я вылечу ее...

При слове «лекарство» Соболев как бы снова вернулся к

жизни и обратился к Груньке:

– Ведь доктор был?

– Был и сказал, что надежды нет!

– Ничего ваши доктора не знают!.. Пустите меня... у меня для нее есть лекарство, – снова заговорил Ахметка.

– Да тебе-то что?.. Ты чего тут беспокоишься? – спросила Грунька у Ахметки.

Тот, прижав оба кулака к груди и вращая глазами, вдруг проговорил:

– Пойми, девушка, это – моя сестра!.. Я для нее живу, чтобы ее беречь.

Соболев схватил Ахметку за руку и, не расспрашивая больше ни о чем, повлек его в комнату Эрминии. Он сделал это почти безотчетно, как бы по наитию.

Впрочем, слова Ахметки могли показаться ему правдоподобными, потому что он знал от самой Эрминии о ее происхождении.

Грунька и Соболев были теперь хозяевами на даче, потому что Убрусова испугалась происшедшего и с Маврой укатила обратно в Петербург в чухонской таратайке.

Эрминия лежала в своей постели навзничь, недвижимая и как бы холодеющая. На ее груди была перевязка, сделанная случайно оказавшимся в Петергофе доктором, который перевязал рану только, как он говорил, из добросовестности, но совершенно бесцельно, потому что положение было безнадежно. Кровь из раны сочилась так сильно, что перевязка

вся была пропитана ею.

Ахметка наклонился над Эрминией, вытащил из-за своего пояса кинжал и приложил плашмя его блестящее, как зеркало, лезвие к ее губам, затем отнял и внимательно посмотрел.

– Дышит! – сказал он, заметив на стали, что последняя запотела от дыхания, и принялся развязывать перевязку.

Грунька невольно хотела было остановить его.

– Что ты делаешь?.. Ведь кровь хлынет из раны!

– Не мешай! – сказал Ахметка, сверкнув глазами и быстро продолжая развязывать рану.

И случилось как бы чудо. Ахметка начал бормотать какие-то непонятные гортанные слова, и по мере этого его заговора сочившаяся кровь начала останавливаться и, наконец, остановилась совсем.

Ахметка потребовал теплой воды, вымыл руки, опять произнося непонятные слова и с проникновенно серьезным лицом обращая взоры кверху. Он вынул из раны корпию и промыл, а потом сжал края раны, намазал на кусок, оторванный от полотенца, какой-то мази, которая была у него в кармане в баночке, и снова завязал.

– Она будет жить! – проговорил он. – А теперь дай мне, Иван Иванович, глоток вина!

Вина не оказалось, но Соболев дал Ахметке денег, и тот пошел за вином.

Соболев поверил словам Ахметки и не то что успокоился,

а надежда дала ему силу выйти из отчаянья, в котором он находился. Но все-таки у него был такой растерянно-жалкий вид, что, когда прискакали на тройке Жемчугов и Шагалов, у Митьки не хватило духа выругать, как он предполагал, Соболева за то, что тот не сумел уберечь Эрминею.

ЛШ. Рассказ Ахметки

Жемчугов, князь Шагалов и Соболев расположились в дачной столовой за столом. Грунька принесла кипятка и меда и стала заваривать сбитень, отлично разыгрывая роль хозяйки.

Соболев рассказал о появлении Ахметки и о том, что знал из рассказов Эрминии, так что, когда Ахметка вернулся с вином, он уже был принят за стол как свой близкий человек. Относительно поранений своей сестры он был более или менее спокоен и рассказывал, что у них в горах и не такие раны залечивают и что все, Бог даст, обойдется хорошо.

Мало-помалу, отвечая на расспросы, он передал историю Эрминии совершенно так же, как Соболев знал эту историю от нее самой.

Турки, разграбив их селение, вырезали всех мужчин, старух и детей и увезли в рабство молодых девушек. Ахметка спасся, потому что лежал раненый и его, должно быть, приняли за мертвого и не прикололи. Он сам себе излечил рану и отправился в Константинополь в надежде найти там сестру. Его расчеты оправдались: он увидел ее в числе продаваемых открыто на рынке рабынь. Удача этой встречи убедила его в том, что его сестру охраняет надетый ей на шею волшебный талисман.

– А ведь в самом деле, – сказал Соболев. – Ведь вот, когда

с нее был снят этот талисман, так с ней и случилось...

– А разве талисмана уже нет у нее? – меняясь в лице, спросил Ахметка.

– Если это так важно, – проговорил Жемчугов, – то вот он, талисман, он у меня, – и Митька вынул из кармана и положил на стол золотую круглую пластинку, добытую им у Ставрошевской.

– Ну, теперь я все понимаю, – сказал Ахметка, – теперь могу понять, почему с моей сестрой случилось несчастье. Надо скорей надеть на нее талисман, и она будет здорова.

Сказав это, Ахметка вернулся к своему рассказу.

На базаре он видел, как его сестру купил польский гяур. Сначала это произвело на него отчаянное впечатление; он выследил, куда отправился гяур с его сестрой, и втерся среди турецкой прислуги того дома, где жил поляк. Он думал, что гяур купил его сестру для своей потехи, и хотел убить его, но, к своему удивлению, узнал, что его сестра принята как родная.

Такой оборот дела он приписал, конечно, вовсе не доблести гяура, а силе талисмана, охранявшего его сестру.

Он узнал, откуда был поляк, и последовал, терпя лишения, невзгоды и всякие приключения, в Гродно, промышляя разными способами, между прочим, пляской и врачебным искусством, которому был научен своим дедом, очень большим и мудрым человеком. Он скрывался и не давал о себе знать сестре из боязни, что она лишится того положения

как бы родной дочери, которое она занимала в доме богато-го польского барина, когда узнают, что у нее явился такой брат, как он, Ахметка. Из боязни повредить сестре он следил за ней издали. Какое-то предчувствие говорило ему, что она все-таки будет нуждаться в его помощи.

Через прислугу, с которой он видался в шинках, он знал все, что делалось в доме, где жила его сестра, и таким образом был осведомлен, что приехал кудесник, маг и чародей, итальянский доктор, и что он показывает чудеса.

Эти чудеса, о которых рассказывала Ахметке прислуга, были ничто в сравнении с теми, какие мог делать у них в горах старый мудрый дед Ахметки. И словно этот старый дед давал знать (так казалось Ахметке), что теперь именно и необходима его помощь сестре.

Ахметка бродил ночью вокруг дома, оберегая сестру, так как ему казалось, что опасность для нее придет извне.

И в самом деле, однажды ночью он заметил, что у ворот дома остановилась запряженная четверкой цугом дорожная карета. Из нее вышел доктор Роджиери, которого Ахметка уже успел признать.

Выйдя из кареты, итальянец остановился, поднял руки, протянув их по направлению к дому.

Вскоре после этого Ахметка увидел, как из дома вышла его сестра. Она шла, по-видимому, добровольно, села в карету, и, прежде чем Ахметка успел что-нибудь сделать, Роджиери вскочил вслед за девушкой, и карета помчалась в га-

лоп.

Ахметка не раздумывал, что делать, а прямо вскочил на ось кареты и был довезен ею до остановки.

На этой остановке сестра увидела его из окна, но не узнала, потому что, очевидно, была во сне, который наводил на нее итальянец. Такую силу наводить сон имел один лишь дед Ахметки.

Ахметка на остановке отвязал чужую верховую лошадь и удрал на ней за каретой. Так он ехал за ней повсюду и, наконец, добрался до Петербурга.

Тут он увидел, что карета въехала во двор заколоченного дома, и стал следить за этим домом. Ту щель в частоколе, на которую случайно напал Соболев и через которую можно было видеть, что делалось в саду, проковырял Ахметка для того, чтобы следить за сестрой.

Ахметка видел, что она гуляет одна в саду, и хотел было войти с ней в сношения, сказать, что близкий ей человек находится около нее и готов, если нужно, помочь ей. С этой целью он пробирался вечером к частоколу в тот день, когда Соболев был там и смотрел в сад.

Затевать какой-нибудь шум и отстранить молодого человека от частокола Ахметка, следивший за Иваном Ивановичем издали, не счел удобным. Да и лицо Соболева понравилось ему, и он инстинктом почувствовал, что это – не враг, а восторженный друг. Он оставил Соболева у частокола, а сам зашел в герберг, где случилась с ним история с баро-

ном Цапф фон Цапфгаузенем, в которой заступился за него Митька.

В первый раз в свои скитанья Ахметка испытал проявление к себе дружбы от чужого человека. Собственно, чужими, кроме сестры, ему были все в мире, и все, кого он встречал до сих пор, относились к нему в самых лучших случаях с пренебрежением, а то и вовсе гнали и насмехались над ним. Один Жемчугов заступился за него и обратился с ним по-человечески.

Это тронуло Ахметку; он довез Митьку домой и остался у него, потому что хотел подождать случая, чтобы услужить, а вместе с тем и потому, что ему все равно деваться было некуда, а здесь принимали его радушно.

Когда он на другой день рано утром вскочил, разбуженный толчком наткнувшегося на него Соболева, он в первую минуту накинулся на последнего, думая, что его преследует шайтан в образе молодого человека, которого он видел вчера у частокола, а сегодня снова видит пред собой, едва продрав глаза. Но, когда Ахметка узнал, что этот молодой человек – хозяин дома, в котором живет Жемчугов, он счел совпадение этих обстоятельств опять за сверхъестественное влияние талисмана и увидел в этом еще указание Провидения на то, что он не должен открывать себя сестре.

При пожаре в заколоченном доме Ахметка прибежал, когда уже было поздно, – крыша тогда уже рухнула. Ахметка стал разузнавать в толпе, и кто-то сказал ему, что видел, как

несколько молодых людей спасли красивую девушку из горящего дома и повезли ее в лодке.

Ахметка кинулся отыскивать ее следы, расспрашивал, пускался на все хитрости; наконец он добился своего и узнал, что молодая девушка, спасенная на пожаре, была привезена в дом госпожи Убрусовой, к польке Ставрошевской.

Впрочем, добиться этого ему было не особенно трудно, так как должность теперешних газетных репортеров в то время исполняли лавочники, узнававшие все новости от покупателей. О случае с молодой девушкой говорили по всем лавкам Невского проспекта, и тут-то главным образом Ахметка и осведомился обо всем, что было ему нужно. Но на это ему все-таки потребовалось время, вследствие чего он и пропал тогда внезапно из дома.

Распознав, наконец, дом, где была его сестра, он подробно осмотрел окрестности и, к радости своей, убедился, что от этого дома через задний двор, закоулками можно было обратиться к дому Соболева.

С вечера он притаился за забором и стал стеречь сестру, как стерег ее, бывало, в Гродно, послушный своему чутью, которое никогда не обманывало его.

Ночью он увидел пред домом, где жила Ставрошевская, две фигуры и в одной из них узнал доктора Роджиери, который совершенно так же, как тогда в Гродно, протягивает пред собою руки. Ахметка теперь знал, что итальянец вызывает его сестру, знал, что благодаря злему влиянию этого

итальянца она привезена сюда, и, скользя, как тень, в своей мягкой кожаной обуви, кинулся на Роджиери, ударил его кинжалом в грудь, перемахнул через забор и закоулками, никем не замеченный, пробрался домой, где спокойно вымыл и вычистил свое оружие.

Затем, находясь в доме Соболева, он, конечно, был осведомлен о всем случившемся дальше и успокоился, когда его сестру отвезли в Петергоф на попечение Ивана Ивановича.

Ахметка, все еще боясь рассказывать о своем родстве с молодой девушкой, хотел, прежде чем отправиться за ней в Петергоф, подробнее разузнать, какой, собственно, опасности подвергается она и от кого надо скрывать ее в Петергофе. Он рассчитывал расспросить об этом Митьку Жемчугова, но не успел сделать это, потому что явился князь Шагалов со своим сообщением о несчастье. Тут Ахметка не раздумывал, вскочил на лошадь князя Шагалова и помчался в Петергоф. Дорогу ему было найти не трудно по расспросам, потому что она была хорошо наезженная, прямая.

LIV. Затруднительное положение

Когда Ахметка кончил свой рассказ, то невольно у всех явился вопрос, что же теперь делать?

Прежде всего, разумеется, надо было выяснить, почему было сделано покушение на убийство Эрминии, кто тот офицер, которого обвиняли в этом убийстве, и что им руководило, когда он пошел на свое злое дело?

Эту часть задачи Митька Жемчугов взял на себя и сказал, что он все разузнает. А разузнать было необходимо, главным образом ради того, чтобы удостовериться, чего бояться в будущем.

Затем надо было решить, как быть с Эрминией: оставить ее на даче или перевезти в какое-нибудь другое место.

В этом отношении было решено, что всякий переезд может быть для нее губителен и что, по крайней мере, два-три дня, а то и неделю, нужно оставить ее в покое там, где она теперь. Смущаться тем, что уехала Убрусова со своей Маврой, было нечего, так как тут, казалось, всякие условности приличий надо было откинуть. Да к тому же Эрминия оставалась на попечении родного брата на даче князя Шагалова, и сам князь Шагалов выразил желание остаться, чтобы оберегать молодую девушку. Прислуживать и ходить за ней предназначалось, конечно, Груньке.

Кроме того, на общем совете постановили, что надо дать

знать в Гродно приемному отцу Эрминии о том, где она, и вызвать его, если можно, в Петербург.

Это поручение возложили на Соболева, которому оно тем более подходило, что ему нужно было все равно скрыться хотя бы на время из Петербурга, чтобы – чего Боже сохрани! – не увидел его как-нибудь картавый немец, с которым еще вовсе не были сведены счеты по делу Тайной канцелярии.

Соболев послушно взялся съездить в Гродно и спрашивал только, кого ему там найти и как зовут приемного отца Эрминии.

Ахметка подробно объяснил, где и как найти в Гродно этого богатого пана, и сказал, что зовут его Адамом Угембло.

Эти имя и фамилию Жемчугов отметил у себя в книжке.

Таким образом, князь Шагалов, Ахметка и Грунька остались с Эрминией на даче в Петергофе, а Митька с Соболевым отправились в Петербург.

На прощанье Жемчугов, улучив минуту, обнял Груньку в кухне и проговорил ей:

– Эх, Грунька! И когда мы только успокоимся! Вот дела-то какие!

Грунька ничего не ответила, а только крепко прижалась к нему.

По дороге Жемчугов с Соболевым остановился у заезжего двора, сбегал наверх к хозяину и, к удивлению своему, узнал, что фамилия офицера, которого обвиняли в покушении на

убийство молодой девушки, была барон Цапф фон Цапфгаузен и что имеющиеся против него улики неоспоримы.

Митька выслушал все подробно, все расспросил и запомнил, но Соболева ни во что не посвятил, а только сказал ему:

– Знаешь, Иван Иванович, это отлично вышло, что тебе надо уехать!

– Ну да! – согласился Соболев. – Мне, кстати, надо скрыться из Петербурга.

– Да не только, милый, потому, – заявил Митька, – а так, ты на меня не сердись, но ты точно клетка какая-то в супе плаваешь: ждешь, чтобы тебя на ложку взяли да скушали. Мы тут без тебя все обделаем, а ты вернешься из Гродно и на мамзель Эрминии с ее талисманом женишься!

– Ты почему знаешь, что я женюсь на ней? – вспыхнув яркой краской, произнес Иван Иванович.

– Знаю, брат! Я гадать умею!

Соболев покраснел еще больше и замолчал.

По приезде в Петербург Митька почти моментально выправил Соболеву паспорт и подорожную, и тот отправился, не медля, благо деньги из вотчины были только что присланы.

Снарядив Ивана Ивановича и окинув, так сказать, мысленным оком свое положение, Митька должен был признать, что это положение было весьма затруднительно. Было ясно, что барону Цапфу фон Цапфгаузену убивать молодую девушку, которую он увидел в первый раз (как знал это Жем-

чугов) в своей карете после пожара, не было никакого основания. Но вместе с тем улики были против него действительно весьма веские. Однако Митька чувствовал, что тут кроется какое-то недоразумение, а в чем оно состояло, выяснить — казалось, с первого взгляда почти невозможным.

Прежде всего надо было, конечно, отправиться к барону и расспросить его.

Так и поступил Жемчугов.

Всякого другого, вероятно, арестовали бы и ввергли бы в узилище, но барон оставался на свободе, потому что арест его, как офицера, зависел от полкового командира, а его полковым командиром был Густав Бирон, родной брат герцога. Герцог и его брат Густав знали через немца Иоганна, что барон отправился разыскивать молодую девушку в Петергофе с косвенного, так сказать, одобрения самого Иоганна и вовсе не для того, чтобы убивать ее.

Однако эта история сейчас же стала известна в полку, и сам барон почувствовал, что все-таки ему придется объяснить хотя бы для общества офицеров свое поведение в Петергофе. Он только и дорожил мнением офицеров и до сих пор стоял очень хорошо в этом мнении, но теперь, после петергофской истории и замаранного кровью обшлага на его мундире, отношение офицеров к нему было таково, что именно требовалось объяснить его поведение. А что он мог объяснить, когда сам тут решительно ничего не понимал?

LV. Митька действует

Барон Цапф фон Цапфгаузен сидел у себя дома один, обдумывая, как ему быть, и очень удивился, когда пришел к нему Митька Жемчугов, заявивший, что явился к нему по делу, интересному для него, барона.

– Я пришел к вам, – начал Митька, – хотя недавно мы, при случайной нашей встрече, повздорили; или, может быть, я потому и пришел к вам, что мы повздорили... В силу нашей вздорной встречи вы не можете заподозрить во мне пристрастия к вам, и вот я пришел к вам сказать, как человек беспристрастный, что не верю в обвинение, которое свалилось на вас.

«Он хорошо говорит!» – подумал барон Цапф и произнес вслух:

- Я уже доказал, что это обвинение – вздор!
- Ах, уже доказали!
- Да! Я дал честное слово, что не виноват ни в чем.
- Но этого мало, барон. Офицер вспыхнул:
- Мало честного слова барона Цапф фон Цапфгаузена?!
- О, нет, – поспешил успокоить Митька, – конечно, для порядочных людей этого даже более чем достаточно, так как порядочные люди и без всякого слова должны верить, что вы ни в чем не виноваты! Но для судей, для этих судейских крючков, важны эти глупые улики, эта кровь на обшлаге ва-

шего мундира и такой вздор, как то, что будто вас кто-то видел ночью!

«Он очень хорошо говорит!» – опять подумал барон и ответил:

– Ну да! Но это – уже дело правосудия доказать, что все это – вздор!

– Правосудию надо помочь, барон! И вот я хочу заняться этим.

– Но какое вам до всего этого дело? – спросил весьма естественно барон.

Митька ничуть не смутился.

– По некоторым причинам мне интересно выяснить настоящих виновников этого дела, которых я, может быть, имею основание предполагать.

– А, это – другое дело! – согласился барон. – Тогда будем говорить.

– Скажите, пожалуйста, вы ночью в Петергофе с заезжего двора никуда не уходили? – спросил Митька.

– Никуда.

– А где были ночью ваши сапоги, мундир и прочее?

– Я свой мундир, сапоги и прочее платье положил на стул в коридоре у двери, дабы служанка могла вычистить их к утру.

– Ну, тогда ясно! – сказал Жемчугов. – Ваш мундир и все платье ночью надел кто-нибудь другой, который и совершил преступление.

– Да, конечно, это так! – воскликнул барон. – Я крайне удивляюсь, как это мне самому не пришло в голову! Вы, вероятно, очень умный человек.

– Теперь, – продолжал Митька, – вспомните хорошенько, кто был с вами на заезде на дворе? Кого вы там видели?

– Я видел там многих! – добросовестно сказал барон.

– Кто же были эти многие? Совершенно незнакомые вам люди?

– Нет! Двоих я знал, но только мы условились, что я не буду показывать вид, что мы знакомы.

– Почему же это?

Барон замолчал, искренне стараясь припомнить, почему это так было.

– Я не могу теперь объяснить в точности, но у них как-то это выходило, что нужно было именно так поступить. Теперь же я точно не могу выразить.

– А кто они были такие?

– Один называется Пуриш.

– А другой – Финишевич?

– Ну да, именно! А вы почему знаете?

– Я знаю, что они в последнее время всюду вместе шляются! Ну, знаете, тогда дело начинает проясняться! Пуриш с Финишевичем – такие люди, что на все пойдут. Теперь мы на верном следу! Я это чувствую. Ну, барон, поздравляю, вам, вероятно, удастся легко выпутаться из этой истории. Барон был тронут.

– Благодарю вас! – сказал он, закатывая глаза и чувствительно вздыхая. – Друзья познаются в несчастье, хорошие люди тоже! Сначала я был о вас иного мнения, а теперь я хочу быть с вами другом.

– А я буду гордиться дружбою с бароном Цапфом фон Цапфгаузенем! – сказал Митька, окончательно побеждая этим сердце барона.

Жемчугов, считая, что он напал уже в самом деле на след, поспешил отправиться в Тайную канцелярию к Шешковскому за советом.

– Ну, брат, дела! – встретил его Шешковский. – Представь себе: картавому немцу удалось карася поймать.

– Какого карася? В чем дело? – переспросил Жемчугов, поглощенный весь тем, что его занимало, и не желавший слушать о карасях, пойманных Иоганном.

– Президент королевской палаты Августа Второго господин Брюль, – сказал Шешковский, – просил герцога Бирона поймать находящегося в России Станислава Ставрошевского, сторонника Лыщинского, покушавшегося на жизнь Брюля в тридцать третьем году. Случай, как видишь, исторический.

– Терпеть я не могу исторических случаев!

– А все-таки Иоганну удалось разрешить этот случай. Этот Станислав Ставрошевский оказался мужем пани Марии, и она выдала его Иоганну, который приехал к ней как раз в то время, когда у нее был Финишевич.

– Финишевич?!

– Ну да! Под этим именем скрывался здесь муж пани Марии, Станислав Ставрошевский.

– Вот что называется, легок на помине! Ведь и у меня сейчас дело, которое тоже относится к Финишевичу. Ты знаешь о покушении на убийство Эрминии?

– Какой Эрминии?

– Ну, той самой молодой девушки, из-за которой мы хлопотали вот уже сколько времени!

– Ах, этой! Но послушай, тут замешивают барона Цапфа. Я думаю, что это – вздор!

– Я уверен в этом! Я сейчас от него, и, судя по разговору с ним, можно предположить, что тут замешаны Пуриш и Финишевич, то есть, значит, Ставрошевский. Конечно, прежде всего надо установить, имели ли эти господа какую-нибудь причину покушаться на бедную девушку?

– Может, просто хотели ограбить ее? Ведь они были без денег!

– В том-то и дело, что нет. Никаких признаков корыстной цели не имеется! Нанесена рана и решительно ничего не тронут.

– Конечно, если бы знать, кто такая эта девушка, то дело было бы яснее!

– Кто она, я теперь знаю. Она – приемная дочь гродненского пана Адама Угембло! Вот тут у меня записано... – и Жемчугов справился со своей книжечкой.

– Угембло... Угембло... – задумчиво повторил Шешковский и, перебрав несколько дел, взял одно и стал перелистывать. – Так и есть! – сказал он. – Пани Мария Ставрошевская, рожденная Угембло, из Гродно, дочь пана Адама Угембло.

– Теперь все ясно! – воскликнул Митька и даже, вскочив со своего места, заходил по комнате. – Ну, да! Конечно все ясно! – повторил он. – У Ставрошевской, несомненно, были счеты с приемной дочерью своего отца. Последний, насколько я теперь знаю, прогнал пани Марию и, разочаровавшись в ней, всю любовь свою отдал приемной дочери. Ставрошевская же, столкнувшись с Эрминией здесь, в Петербурге, подговорила своего мужа убить ее. Сейчас я отправлюсь к картавому немцу.

– Зачем?

– Затем, чтобы сделаться его приятелем, как уже сделался приятелем барона Цапфа фон Цапфгаузена, – ответил Митька. – Все это дело оставьте на мне. Не трогайте Ставрошевской, у меня, кстати, имеется на нее хорошенький документ, а через нее я войду в дружбу с доктором Роджиери. Теперь понимаете?..

– Понимаю! – сказал Шешковский.

LVI. Здравствуйте, господин Иоганн

Старый картавый немец Иоганн, конечно, был очень доволен, что ему посчастливилось задержать Ставрошевского; последний был уже отправлен в Петропавловскую крепость и сидел там за крепкими замками, в надежном каземате. Но удовольствие Иоганна этим успехом не могло быть полным. Он должен был признаться, что этот успех как бы оскорбил в нем самом чувство преданности герцогу Бирону.

В самом деле, герцог, если бы хотел, мог упрекнуть его следующим образом:

– Мой добрый старый Иоганн! Когда дело коснулось интересов господина Брюля, то ты распорядился очень хорошо и расторопно, но, когда речь идет о чем-нибудь таком, в чем замешаны мои, Бирона, интересы, ты в последнее время просто-напросто ломаешь дурака!

Такой упрек был бы вполне справедлив, и хотя герцог не делал его Иоганну, но старому немцу было неприятно, что он мог бы сделать этот упрек.

Дело с Эрминией было провалено крайне глупо, никаких концов этого происшествия Иоганн не нашел и был сам кругом виноват в этом.

Высказанная им преданность в героическом до некоторой

степени поступке освидетельствования оспенного не привела ни к чему. Он, окуренный серой, задыхаясь от серного дыма, подошел к бараку, и в окно ему показали больного, на лице которого была полотняная маска. Иоганн тут только вспомнил, что, правда, оспенным больным надевают на лицо полотняную маску, пропитанную лекарством, для уменьшения оспенных пустул. Но, конечно, под маской он не мог узнать, тот ли это был, кого он искал, и весь его героизм пошел, так сказать, прахом.

Затем Иоганна беспокоила история с бароном Цапфом фон Цапфгаузенем.

И надо же было стрястись такой беде.

Скверным казалось тут то, что Иоганн сам же и посоветовал барону отправиться на разведки о молодой девушке, а там заварилась такая каша. Иоганну было весьма жаль барона, потому что он сочувствовал ему вообще, и считал себя обязанным сделать все возможное, чтобы выгородить несчастного офицера, но решительно не знал, как за это взяться.

И вот в ту минуту, когда он, сидя у себя в комнате, раздумывал, что ему делать, он вдруг услышал над своей головой ясно раздавшийся голос:

– Здравствуйте, господин Иоганн!

Картавый немец оглянулся и остолбенел. Сзади него, у него в комнате, стоял неизвестно как пробравшийся сюда Митька Жемчугов, который и высказал ему это вежливое

приветствие.

– Как вы пробрались сюда? – почти крикнул Иоганн, не подозревавший, конечно, что почти все лакеи и слуги в бироновском дворце так же послушно подчинялись Митьке, как и гайдуки в доме пани Ставрошевской.

– Ну, что вы шумите! – спокойно сказал Митька. – В том, что я пробрался к вам, нет ничего мудреного! Двери из сада в коридор, а из коридора в вашу комнату были открыты, и вольно же вам было так задумываться, что вы не слышали, как я вошел. А побеспокоил я вас по делу, которое, вероятно, интересно вам.

– Но надо узнать сначала, – сердито возразил немец, – желаю ли я этого или нет!

– Эх, господин Иоганн, будем рассуждать разумно: ведь для того, чтобы вам пожелать или не пожелать выслушать меня, вам надо знать, что хочу сказать я. А я принес вам сведения, гораздо интереснее сведений Пуриша и Финишевича, которых вы нанимали следить за мной.

– Кто вам сказал это? – живо спросил Иоганн и покраснел.

– Господин Иоганн, вы плохо знаете Митьку Жемчугова, если думаете, что он не способен сделать даже такую вещь, как разгадать ребяческие уловки господина Пуриша! Плохих людей вы подбираете себе, господин Иоганн!

– Я не виноват, что среди русских хороших нет! – ответил, продолжая сердиться, немец.

– Как нет? – весело рассмеялся Жемчугов. – Есть, и очень

много, и даже очень прекрасных русских людей! Однако вы, должно быть, хотите намекнуть, что они не идут к вам? Так и то вы ошибаетесь. Видите, я вот – прекрасный человек, даже очень хороший человек! И пришел к вам, и хочу доказать вам, что барон Цапф фон Цапфгаузен ни в чем не виноват в Петергофе, а что всему причиной здесь пани Мария Ставрошевская.

Иоганн сейчас же заинтересовался словами Жемчугова, и тот постепенно и очень обстоятельно рассказал ему все, что знал о подробностях происшествия в Петергофе и об их достодожном освещении.

По мере того как Митька рассказывал, Иоганн кивал головой в знак согласия и наконец одобрительно произнес:

– Все это так. Все это вы, я полагаю, верно сообразили.

Насколько я могу судить, вы – человек...

– Умный! – подсказал, прищурясь, Жемчугов.

– Кто это вам сказал? – спросил немец. Митька сделал очень серьезное лицо и произнес с большой уверенностью:

– Барон Цапф фон Цапфгаузен. Он мне так прямо и сказал, а до него я и не знал этого.

– Я сказал бы, что вы – человек способный! – с расстановкой определил немец, точно это было очень важно для Жемчугова. – Но, видите ли, у меня есть старый опыт!

– Я в этом не сомневаюсь!

– И этот старый опыт говорит мне, что никакой человек ничего не делает бескорыстно! Если вы ищете награды, я по-

нимаю, зачем вы ко мне пришли! Если вы не ищете ее, тогда я не понимаю!

– Я ищу награды! – серьезно сказал Митька.

– А-а!.. Какой же вы награды себе ищете? Митька опять сделал серьезное лицо и проговорил:

– Почетной.

– Это хорошо! – сказал Иоганн.

– Да! Ведь я не какой-нибудь Пуриш или Финишевич, который польстился бы на деньги: мне нужно, по крайней мере, придворное звание.

– Но ведь это дается за заслуги!

– Так вот я и хочу заслужить. Я думаю, что в деле с Эрминией я могу быть полезен его светлости.

– В каком смысле?

– А в том, что мы, во-первых, вернем ее доктору Роджери, а во-вторых, обеспечим ее от подобных людей, как Финишевич-Ставрошевский или подосланные им его клеветы.

– Его клеветы?

– Ну, да! Например, один из них вскочил к вам тогда в лодку и теперь вот умирает в оспе. Он, очевидно, был подослан Ставрошевским.

– А ведь в самом деле! – сообразил Иоганн. – И подумать, что этот же Финишевич был у меня агентом и получал от меня деньги... О, как хитры эти люди!

– Да, эти люди очень хитры! – сказал Митька. – Но, знаете, теперь, когда мы нашли главного виновника, этого вто-

ростепенного, который там умирает в оспе, можно будет так и оставить! Ну его! Так вот, если вам угодно, чтобы я действовал, то я буду!

– И желаете получить за это придворное звание?

– Ну что ж! Придворное звание, так придворное!

– Хорошо! – многозначительно произнес Иоганн. – Если все будет так, как вы говорите, вы получите придворное звание! Императрица даст вам его, если захочет герцог Бирон, а герцог Бирон захочет, если захочу я!

LVII. Двое мужчин

Пани Мария на своем веку видала много всевозможного рода мужчин, знала их, и нельзя было сказать, чтобы имела высокое мнение об этой «породе», как называла она мужскую часть человечества. Бывало, попадались ей мужчины, которые на первый взгляд казались как бы нравственно сильнее ее, но стоило лишь приглядеться к ним, стоило лишь стать пред ними женщиной, и сейчас же обнаруживалась их слабость, и они становились величиной ничтожной в глазах Ставрошевской. И вот только двое людей, которые, как ни приглядывалась к ним пани Мария, не были похожи на остальных мужчин, а именно: доктор Роджиери и Митька Жемчугов.

Доктор был маг, волшебник, кудесник и чародей, таинственность шла ему, и в ней точно таяло выражение могущей оказаться у него какой-нибудь слабости. В первый раз, когда Роджиери приехал к Ставрошевской требовать от нее, чтобы она отдала ему Эрминию или, по крайней мере, хоть показала ее ему, она выдержала борьбу и не подчинилась итальянцу, но теперь, когда он, выздоравливающий, лежал у нее, она чувствовала, что с каждой минутой, с каждым словом, произносимым им или ею, он берет над нею верх.

Митька Жемчугов, этот Митька, казавшийся ей спервоначала пустым пьяницей, оказался еще более сильным пред

нею. В нем не было ничего ни волшебного, ни таинственного, но в нем сидела какая-то природная, врожденная сила, и эта сила, при полном отсутствии таинственности и волшебства, была для пани Марии тайной, которую ни понять, ни разгадать она не могла. Если Роджиери мог завладеть ею и подчинить ее себе еще в будущем, то Митька Жемчугов уже завладел и подчинил ее себе. Она чувствовала, что должна повиноваться ему, и не потому, что у него был в руках документ, которым он мог уничтожить ее, а потому, что такова была его воля. И, чем больше ощущала она эту волю, тем более ненавидела Митьку и вместе с тем никого так не желала бы иметь возле себя, как именно его. Странно – когда Митька подъехал к крыльцу в соболевской карете, пани Мария почувствовала это, несмотря на то, что сидела у Роджиери и говорила с ним, поглядела в окно, убедилась, что это приехал Жемчугов, и быстро пошла к нему навстречу. Гайдуки, отнюдь не вышедшие из почтения пред Ставрошевской после сцены с Митькой, встретили его без всяких особых знаков внимания, как встречали всех гостей своей госпожи. Жемчугов тоже держался как ни в чем не бывало, но и не выказал удивления, что пани Мария сама к нему вышла навстречу.

– Вы хотите пройти к доктору? – спросила Ставрошевская, здороваясь. – Я много говорила ему о вас, и он очень желал бы поближе познакомиться с вами.

Жемчугов, не отвечая ей, прошел в гостиную и, оглянувшись, спросил:

– Отсюда слышно никуда не будет?

– Тогда пройдемте сюда! – сказала пани Мария и отвела Митьку в самую дальнюю, убранную на манер боскетной, комнату.

– Пани Мария! – сказал, круто поворачиваясь к ней, Жемчугов. – Это что за штуки?

– Какие штуки? – переспросила Ставрошевская и почувствовала, как при одном взгляде Митьки вся кровь отхлынула у нее от сердца.

– С Эрминией!.. С Эрминией! – повторил Жемчугов. – Вы подослали Ставрошевского...

– Разве он что-нибудь сказал? Но это – клевета! – стала было говорить пани Мария.

Митька остановил ее:

– Ему не было никакого основания убивать приемную дочь Адама Угембло, вашего отца, которой он завещал свое состояние! Со смертью Эрминии это состояние должно, конечно, перейти к вам!

Ставрошевская смотрела прямо в глаза Митьке Жемчугову, напрасно силясь распознать, что было у него там, внутри, за этим металлически-бесстрастным взглядом, который имел на нее то же действие, какое имеет направленное в упор на человека дуло огнестрельного оружия.

– Да что... вы – тоже колдун? – отмахиваясь, заметалась она пред Жемчуговым. – У вас тоже есть чары, и посредством их вы знаете все?

– Ну, так вот, пани Мария! Я вашу глупость поправлю: вы из всего этого выйдете чисты, но только помните...

– Что мне помнить?

– Наше условие.

– И нового вы ничего не потребуете?

– Решительно ничего. Мне нужно стать другом доктора Роджиери, и все тут...

Ставрошевская долгим, испытующим взглядом посмотрела на Митьку и, опять не уловив в его глазах ничего, проговорила:

– Не знаю: вы мне или действительно друг, или же враг, который принесет мне погибель...

– Ну, там увидим! – равнодушно махнул рукой Митька. – А теперь пойдете к Роджиери.

Они пошли в комнату к итальянцу, и там Митька оставался довольно долго, поддерживая общий, очень занимательный разговор. (Он владел очень недурно французским языком.)

Когда он уехал, Роджиери сказал пани Марии:

– Вот первый человек, ни одной мысли которого я не мог прочесть, несмотря на все мое искусство...

LVIII. Коса на камень

Жемчугов поспешно вошел в караульное помещение в крепости и сказал несколько слов офицеру.

– У вас есть пропуск? – спросил тот.

Митька вынул из бокового кармана кафтана бумагу и показал.

Караульный офицер внимательно рассмотрел бумагу и спросил:

– Слово?

Жемчугов наклонился к самому его уху и тихо шепнул:

– Струг навыверт!

– Пойдемте! – сказал офицер и повел Митьку по каменным переходам, которые закончились коридором с несколькими железными дверями.

Одну из этих дверей отпер по приказанию офицера огромного роста инвалид петровского времени, и Жемчугов вошел в каземат, где сидел Финишевич.

Тот, закованный в цепи, встал навстречу Митьке и проговорил:

– Странно! Я почти был уверен, что придете ко мне именно вы.

Он был, по-видимому, довольно спокоен, чего никак нельзя было ожидать, и ни отчаяния, ни боязни заметно в нем не было.

Это удивило Жемчугова, и он с недоумением посмотрел на Финишевича.

– Вы как ко мне? – продолжал тот. – Официально или неофициально? Я думаю, что вы пришли навеститься ко мне частным образом, так как дело, по которому я заключен, касается иностранного государства, и здесь официально никто меня допрашивать не может.

– Ну, пан Ставрошевский! – ответил в свою очередь с необыкновенным спокойствием Митька. – Если бы нужно было допросить вас, то и допросили бы! Дело не в том. Я пришел к вам исключительно в ваших же интересах.

– Вот как? Ну, посмотрим, в чем это мои интересы заключаются!

– Да я полагаю в том, чтобы как можно дольше остаться в России и не быть выданным в Польшу, в распоряжение господина Брюля! Вы знаете, ведь там, говорят, распоряжается этот господин куда круче, чем это делается у нас! А уж, конечно, он придумает что-нибудь особенное для вас. Если вы надеетесь бежать во время переезда, то это вам не удастся, потому что Брюль просит доставить вас в железной клетке. По-видимому, очень серьезный человек – этот господин Брюль! И там вас ожидает неминуемая смертная казнь, и, вероятно, очень мучительная.

– Да! Положение пренеприятное! – с кривой усмешкой подтвердил Ставрошевский.

– Не только пренеприятное, а такое, неприятнее которого

и выдумать нельзя!.. Так вот, может быть, вы хотите не то что избавиться, а хотя бы облегчить это положение?

– Ну, само собой разумеется, что хочу и думаю, что, авось, как-нибудь добьюсь этого.

– У вас, значит, есть какой-либо план?

– Не план... я сказал бы – надежда! А знаете, говорят, что надежда никогда не оставляет человека; впрочем, до тех пор, пока он не попадет в ад.

– Знаете, пан Ставрошевский, вы так вот, сидя в каземате, гораздо лучше рассуждаете, чем на воле!

– Что же делать! Когда дело становится серьезным, невольно все способности человека напрягаются!

– Мысль, достойная философа. Так в чем же ваш план?

– Ну, этого, извините, я вам пока не скажу, тем более что ведь вы сами пришли ко мне с предложением, из которого как бы явствует, что вы тоже видите возможность облегчить мое положение.

– Совершенно верно. Что, например, если бы вы признались в каком-нибудь проступке, или даже, положим, преступлении, будто бы совершенном вами здесь, в России? Ведь тогда дело стало бы разбираться здесь, конечно, затянулось бы, и таким образом ваша поездка в железной клетке в гости к господину Брюлю была бы отложена на довольно долгое время; ну, а там – мало ли что может случиться!

– Мысль очень недурна и более или менее даже соответствует моим надеждам, или плану, как вы изволили выра-

зиться.

– Ну вот, это хорошо, что вы сразу схватываете положение. Значит, надо только придумать, какое бы дело вам взвести на себя.

– Да! Например, какое дело?.. Может, у вас есть что-нибудь уже готовое в этом отношении?

– Может быть!

– Например?..

– Например, вот что: в Петергофе только что сделано покушение на убийство молодой девушки. Обвиняют в этом одного офицера, которого будто бы видели ночью, когда он выходил из заезжего двора; затем он ранее обратил на себя внимание расспросами о даче, где жила молодая девушка, и на обшлаге его мундира оказалась кровь.

Говоря все это, Митька зорко следил за выражением лица Ставрошевского. Но тот и глазом не моргнул, а проговорил, раздумчиво покачивая головой:

– Скажите, какой странный случай!

– Вы могли бы, может быть, – сказал Жемчугов, – признаться, что вы были в это время тоже в Петергофе на заезжем дворе и что ночью оделись в мундир, который был положен офицером у своей двери, чтобы горничная могла вычистить его, и в этом мундире пробрались на дачу князя Шагалова, там нанесли рану кинжалом молодой девушке и запачкали обшлаг мундира, а потом положили его на прежнее место...

– Не будет ли это уж слишком похоже на сказку? – спросил не без наглости Ставрошевский.

«Ну, и наглец же ты!» – подумал Митька и громко сказал:

– Все равно дело начнут разбирать, и вы выиграете время.

Ставрошевский задумался, услышав заявление Митьки, очевидно, он начал улавливать некоторые выгоды для себя от этого предложения. Наконец, он спросил:

– А как фамилия офицера, которого обвиняют?

– Барон Цапф фон Цапфгаузен.

– Ага! Барон-таки попался!.. Да, ему трудно будет отделаться от этой истории, если я не возьму вины на себя.

– Но только вот что: если вы возьмете вину на себя, как вы говорите, то отнюдь не должны вмешивать сюда свою жену, пани Марию!

– Позвольте, а при чем же тут может быть моя жена, пани Мария?

– А хотя бы при том, что она – дочь богатого Адама Угембло, который, как и вы, вероятно, знаете, лишил ее наследства.

– Так ведь он лишил ее наследства просто по самодурству. Он рассердился на Бирона и на русских управителей и пошел за Станиславом Лыщинским исключительно ради того, чтобы быть против них. А пани Мария после неудачи Лыщинского перешла на сторону Вишневецкого и завела сношения с русскими царедворцами. Угембло, узнав об этом, счел это предательством, в минуту горячности проклял родную дочь

и выгнал ее вон. Партийные раздоры всегда разгораются особенно сильно между родственниками.

– И затем Угембло взял себе в приемные дочери молодую девушку, купленную им в Константинополе, куда он отправлялся в посольстве от враждебных русскому правительству поляков, чтобы побудить турок на войну с Россией. Поэтому пани Марии было выгодно желать смерти этой молодой девушки.

– Тут дело не в выгоде, – перебил Ставрошевский, – а в том, что благодаря этой девушке вся жизнь пани Марии была испорчена. Не будь этой купленной на рынке неизвестного происхождения девушки, Угембло давно вернул бы и примирился бы с дочерью. Но эта крещенная им и названная Эрминией госпожа заставила забыть его о пани Марии и сама зажила барыней, тогда как настоящая барыня, пани Мария, должна скитаться, Бог знает где и Бог знает как, иногда, пожалуй, не зная, что будет есть завтра.

– Ну, положим, ест она очень недурно.

– Так ведь это благодаря ее гению, благодаря ее красоте!

– Пан Ставрошевский! – удивился Митька. – Да вы, кажется, говорите о ней с восторгом, хотя она вас сама выдала господину Иоганну!

– Это – мои счета с моей женой, и до них нет никому дела! – гордо произнес Ставрошевский.

Но Жемчугову было видно, что эта его гордость лишь напускная и очень плохо прикрывает собой самую мелкую,

чувственно-похотливую страстишку к прелестям пани Марии. Ставрошевский, думая, что он кажется гордым, на самом деле был слабеньким ничтожеством, в которое превращаются мужчины, когда охвачены увлечением женщиной.

«Нет, он ее не выдаст!» – подумал Митька и испытал некоторое чувство успокоения.

– Ну, так вот, – проговорил он вслух. – Ту девушку, на убийство которой было сделано покушение в Петергофе, зовут Эрминией, и она – та самая приемная дочь Угембло, смерти которой по тем или другим причинам есть основание желать для пани Марии.

– Разве эта девушка не убита? – спросил Ставрошевский.

– К счастью, нет, только ранена, и есть полная надежда на то, что она выздоровеет!

– Ото шкода⁷! – пробормотал Ставрошевский сквозь зубы. – А позвольте спросить вас, – обратился он к Жемчугову: – Почему вы так беспокоитесь за пани Марию? Разве не все равно вам, будет ли замешана в это дело пани Мария, или нет?

Митька совершенно не ожидал такого вопроса, не подумал о нем и не был подготовлен, что ответить.

– Но во всяком случае ведь тут с моей стороны нет ничего дурного! – ответил он, чтобы только сказать что-нибудь.

Ставрошевский долго и пристально смотрел на него и, наконец, сказал:

⁷ Вот жаль!

– Да! Все-таки господину барону Цапфу фон Цапфгаузену придется отвечать за историю в Петергофе!

– То есть как же это?

– А так, что я ничего не возьму на себя.

– И поедете в железной клетке в Варшаву?

– Нет, и этого тоже не желаю. Я соглашусь взять петергофскую историю на себя при условии, если господин Иоганн гарантирует мне полную безопасность.

– В каком смысле?

– Да во всех смыслах: чтобы меня выпустили на волю, и кончено.

– Да, после того.

– Да, после того, как я сделаю признание.

– Но ведь это же невозможно.

– Все на свете бывает возможно. Если господин Иоганн захочет, то достигнет...

– Но, послушайте, ведь вы же с ума сошли!.. С какой стати Иоганн будет делать это?

– Это уж – не ваша забота! Вы передайте ему только мое условие; я приму на себя вину барона Цапфа, если господин Иоганн гарантирует мне безнаказанность и полную свободу.

– Но – позвольте! – ведь я могу принимать на себя разумные поручения, но такие, которые кажутся мне заранее обреченными на отрицательный ответ как совершенно несуразные, я исполнять не могу.

– Не беспокойтесь: отрицательного ответа не будет!

– Почему?

– Потому, что барон Цапф фон Цапфгаузен приходится сыном картавому немцу Иоганну, и последний сделает все возможное, чтобы спасти его.

ЛІХ. Затишье

Тот, кто, в первый раз выйдя в море на корабле, попал бы в разгар бури с порывистым ветром, раскатами грома, ударами молнии и беспокойно мятущимися волнами, набегающими одна на другую, был бы неправ, если бы вообразил, что это и есть постоянное состояние моря и что иным оно и быть не может. Правда, во время урагана в море и старые моряки забывают о том, что еще недавно царили тишь и благодать, и им даже кажется, что именно этот бурный разгул водной стихии и является, так сказать, ее сущностью.

Такова и жизнь: бывает, что в жизни человеческой вдруг начинают бушевать события, как волны в морскую бурю, нагромождаясь одно на другое, и затем так же внезапно наступает тишина, перерыв, роздых, послушный каким-то высшим законам равновесия, не понятным даже самому совершенному из все-таки несовершенных умов человеческих.

Все это бывает в истории народов, отдельных лиц и человеческих групп.

Для людей, окружавших Митьку Жемчугова, перенесших в последнее время столько неожиданностей и потрясений, наступил отдых в виде затишья. Их нервы были настолько приподняты и взвинчены, что, казалось, дольше не выдержать им, и Провидение как бы дало им вздохнуть.

Обстоятельства сложились так, что все, хотя и не могло

войти в нормальную жизнь, само собой затихло – правда, может быть, для того лишь, чтобы разыграться затем с большей силой и стремительностью.

В конце июня был казнен Волынский; герцог Бирон был на высоте своего могущества; преданный ему Иоганн находился неотступно возле него, но в дела Тайной канцелярии более не вмешивался. Относительно Ставрошевского он дал Жемчугову уклончивый ответ; Митька, конечно, умолчал пред ним о том, что Ставрошевский говорил про его якобы родственные отношения к барону Цапфу. Если это было так, то Иоганн без всяких упоминаний и указаний должен был выказать особенное участие в деле петергофской истории. Иоганн, выслушав переданное Жемчуговым от Ставрошевского условие, ничего не сказал, но через несколько времени Митька узнал, что, по приказанию герцога Бирона, немедленная отсылка Ставрошевского в железной клетке в Варшаву отложена.

Доктор Роджиери поправился в доме у пани Марии, пользуясь ее неусыпными заботами. Она исполнила свое обещание относительно Жемчугова, видя, что он не только не пользуется имеющимися у него против нее документами, но и как бы оберегает ее от Ставрошевского, который пока молчит, сидя в крепости, и не заставляет ее жалеть о том, что она выдала его, не зная, что им уже было сделано покушение на Эрминию, к которому он мог припутать и ее самое.

Пани Мария сделала от себя все возможное, чтобы сбли-

зить Митьку с доктором Роджиери, и Митька не заставлял ее в этом деле проявлять какие-нибудь чрезмерные хлопоты, так как сам очень ловко держал себя с итальянцем и довольно быстро завоевал его расположение. Они сделались друзьями, и вследствие этого картавый немец стал совершенно иначе относиться к Митьке. Теперь бывало так, что часто Жемчугов захаживал запросто в маленькую комнатку Иоганна во дворце герцога.

Эрминия поправлялась, но плохо и в высшей степени медленно. Она жила все по-прежнему в Петергофе на даче; ухаживала за ней Грунька, а оберегали ее князь Шагалов и ее брат Ахмет. Увидев и узнав брата, она страшно обрадовалась ему и не хотела отпускать его от себя.

Госпожа Убрусова, сбежавшая тогда из Петергофа в город со своей Маврой, поселилась опять во флигеле своего дома. Ее не беспокоили и не звали обратно в Петергоф, где в ее присутствии уже не нуждались, так как Эрминия была открыто объявлена приемной дочерью Адама Угембло, приезда которого со дня на день ждали из Гродно.

Однако оказалось, что Угембло после исчезновения Эрминии поехал отыскивать ее, был сбит с толка неверными указаниями и направился в противоположную сторону – в Варшаву, а затем дальше, за границу. Он измучился и истрадался в своих поисках, и, наконец, в Нюрнберге, куда он почему-то попал, заболел от беспокойства, утомления и перенесенных потрясений.

Соболев, не застав Угембло в Гродно, послал нарочного в Петербург, чтобы узнать, что делать. Из Петербурга ему прислали заграничный паспорт и требование, чтобы он ехал отыскивать Угембло.

Ушаков был все так же изящен, нюхал табак из золотой табакерки, занимался цветами, а Шешковский приезжал к нему с докладами и по-прежнему просиживал ночи в Тайной канцелярии.

Митька в канцелярии не показывался и вел себя так, будто разошелся с Шешковским; по крайней мере, пани Мария уверяла, что они не видятся, и даже клялась в этом.

Сама Ставрошевская при помощи доктора Роджиери была представлена во дворец и сумела понравиться императрице. При дворе ходил слух, что она даже будет приближена к государыне, и петербургская знать повалила к ней с визитами. Но, насколько охотно принимала всех прежде пани Мария, настолько теперь труден был доступ к ней.

Жемчугов забыл думать об обещанном ему Иоганном придворном звании, но картавый немец приглядывался к нему и, помня это свое обещание, думал:

«А что ж, из него выйдет хороший камер-юнкер!...»

Пуриш после ареста Финишевича куда-то исчез, и о нем даже не вспоминал никто.

Так прошло до осени. Она наступила, правда, поздняя, но зато особенно холодная и ненастная.

ЛX. Осень

Холодная и ненастная осень знаменовалась в 1740 году в Петербурге особенным явлением; оно непонятно, однако засвидетельствовано многими очевидцами и занесено современниками в свои записки.

В бурную темную ночь ворота Зимнего дворца растворились, и оттуда показалась погребальная процессия. Люди, с ног до головы одетые в черное, держали в руках факелы, озарявшие своим дрожащим красным, как бы отраженным светом, эту странную процессию. Затем несли гроб. Выйдя из ворот Зимнего дворца на Адмиралтейскую площадь, погребальное шествие завернуло на набережную и направилось по ней вплоть до Летнего сада, где стоял дворец Анны Иоанновны, и там исчезло на глазах видевших все это людей...

По Петербургу пошли толки и пересуды. Никто не мог точно объяснить загадочное явление, но все видели в нем, несомненно, дурное предзнаменование, тем более что государыня была нездорова.

О ночной траурной процессии ей не говорили, и были приняты серьезные меры, чтобы как-нибудь случайно не дошел до нее слух об этом видении. Впрочем, сделать это было не трудно, потому что Анна Иоанновна теперь была окружена исключительно людьми, всецело преданными Бирону и рабски послушными всяким его приказаниям.

В числе таких преданных людей герцог, по уверениям Роджиери и картавого немца Иоганна, мог, безусловно, считать пани Марию Ставрошевскую. Вследствие этого она была представлена ко двору и, как верный человек, поселена в самом дворце Анны Иоанновны.

Доктор Роджиери переехал на житье в дом Петра Великого, занимаемый Бироном, чтобы быть, очевидно, вблизи не только герцога, но и пани Ставрошевской, так как дом Петра Великого находился в двух шагах от большого дворца, расположенного по берегу Невы во всю ширину Летнего сада.

Дом госпожи Убрусовой на Невском пани Мария оставила за собой и приезжала сюда для отдыха в веселом времяпрепровождении или для деловых сношений, по преимуществу с Митькой Жемчуговым.

Был поздний вечер, темный и дождливый; ветер жалобно выл на дворе, но в большой уютной гостиной пани Ставрошевской было хорошо; пылал камин, посреди комнаты на мягком ковре стоял круглый стол, с необыкновенной роскошью накрытый на четыре прибора.

В граненых кувшинах были вина – мальвазия и рейнское. В большой серебряной вазе стояли фрукты; янтарный осетровый балык лежал ломтиками на саксонской тарелке, свежая икра стояла на хрустальной тарелке во льду; тут же были нежный окорок ветчины, страсбургский паштет. Сервиз был весь тонкий, саксонский, приборы золотые и красивые – модные тогда, разноцветные – бокалы на высоких ножках с

вьющуюся ярко-цветной змейкой внутри.

Пани Мария сидела у камина с Жемчуговым, в кресле за маленьким столиком, на котором дымился пахучий пунш, особенно приятный с холода. Ставрошевская только что приехала из дворца и, продрогши в карете, отогревалась теперь, входя мало-помалу в привычную ей непринужденную жизнь после тяжелой придворной натянутости. Откинувшись на спинку кресла, она вытянула вперед ноги, уложив их одна на другую, мешала ложечкой пунш в стакане и пила его медленными глотками, явно наслаждаясь вкусом горячей влаги и желая продлить удовольствие.

– Знаете ли что? – сказала она Жемчугову. – Как хотите, а надо получить Эрмению обратно, потому что герцог во что бы то ни стало желает вернуть ее.

– Он вспомнил-таки о ней?

– Да он никогда и не забывал. Я и доктор Роджиери кое-как оттягивали время, ссылаясь на болезненное состояние Эрмении и на то, что она еще плохо поправилась. Но без конца так тянуть нельзя и рано или поздно надо будет привезти ее в Петербург.

– Но куда же мы привезем ее?

– Самое лучшее прямо во дворец, в те комнаты, которые отведены для меня. Это будет гораздо более безопасно и скрытно, чем предприятие с заколоченным снаружи домом. Лучше всего следовать теории, которая говорит, что если хочешь спрятать что-нибудь надежно, положи на видное место

и сделай так, чтобы этого не заметили.

– Значит, передать Эрминию снова заботам пани Марии?

– Да, это будет самым безопасным! Жемчугов посвистал и произнес, распуская рот в широкую улыбку:

– А у пани Марии не найдется какого-нибудь порошочка или капель, от которых мадемуазель Эрминия отправится на тот свет гораздо надежнее, чем от удара этого дурака Стася? Впрочем, между нами говоря, он вовсе не так глуп.

– Этот человек слишком поторопился! Я не думала, что это удастся ему так скоро! Мне просто хотелось отделаться от него.

– Ну, пани Мария, вы мне зубов не заговаривайте! Со мной ведь это лишнее! Вы мне дело говорите!

– Хорошо! Я скажу вам дело. Вот видите ли: мне теперь нет никакой нужды отделяться, как вы говорите, от Эрминии!

– Положим, я никогда не говорил этого!

– Ну, все равно. Только нужды мне никакой нет.

Я теперь обеспечена, теперь у меня положение, какого я еще никогда не имела, и деньги отца мне сейчас вовсе не так необходимы, как были прежде. Я вовсе не жадна. Мне нужно только необходимое, чтобы не умереть с голода.

– То есть паштеты на саксонской тарелке и вина в граненом хрустале! – показал Митька на накрытый посреди гостиной стол.

– Ну да! – продолжала Ставрошевская. – У меня есть те-

перь все, что нужно. Кроме того, у меня явился план, при котором мне нужны именно полное здоровье и благополучие Эрминии.

– Интересно, пани, в чем тут дело?

– Очень просто: через Эрманию я помирю отца с герцогом Бироном, который даст ему уболагодворение за прежнее, и стану снова любезной моему родителю дочерью.

– Все это умно и достаточно доказательно, чтобы можно было поверить. Но к этому я добавлю еще, что если случится что бы то ни было с Эрминией, пока она у вас, вы ответите предо мной – безразлично, виноваты вы или нет...

Пани Мария подумала и сказала:

– Хорошо! Я принимаю ваше условие.

– На этих же днях Эрминия будет перевезена к вам во дворец.

LXI. Маленький ужин

Ставрошевский был прав: картавый немец Иоганн был отцом барона Цапфа фон Цапфгаузена, хотя барон не носил его фамилии и сам не подозревал, что произошел от плебейской крови бироновского любимца.

У барона был старший брат, у которого гувернером – вернее, дядькой – служил картавый Иоганн, тогда еще молодой человек. Старый барон Цапф был рано проживший свое здоровье старик, и молодой, здоровый парень приглянулся баронессе. Старый барон, застав их в положении, не допускавшем никаких сомнений в неверности баронессы, повернувшись, прошел к себе в кабинет через анфиладу комнат своего наследственного замка, велел позвать туда Иоганна, при нем надел на руку перчатку и в этой перчатке – «чтобы не марасть рук», как он сказал, – дал пощечину картавому немцу, а затем тут же у себя в кабинете застрелился, считая, что другим образом он свой позор смыть не может. Результатом этого было то, что Иоганну пришлось оставить навсегда замок Цапфгаузен, а баронесса через несколько месяцев родила сына, и Иоганн узнал, что этот сын от него.

Другой сын барона Цапфа, старший, тот, у которого Иоганн был дядькой, кончил жизнь на дуэли, и наследником титула и родового замка явился младший сын, не подозревавший, что в его жилах течет демократическая кровь.

Иоганн пережил многое, много видел на своем веку и довольно знал, потому что учился в Геттингенском университете и пополнял свои знания чтением. К Бирону он попал, когда тот сделался из простого конюха любимцем Анны Иоанновны, герцогини Курляндской, жившей в Митаве на хлебах из милости своего дяди, царя Петра. Бирону нужен был скромный, образованный человек, который своими знаниями мог бы пополнить безусловное отсутствие образования у него самого.

Иоганн сжился с Бироном и, когда тот стал первым лицом в России и получил титул герцога, внутренне гордился сознанием, что, собственно, делал все через его светлость не кто другой, как он, Иоганн. Но вся его сила заключалась именно в том, что он должен был прятать эту силу, молчать о ней и не показывать вида, что герцог не только слушается его, но даже и подчиняется. Таким образом для всех посторонних, в том числе и для барона Цапфа фон Цапфгаузена, картавый немец Иоганн был лишь служающим герцога Бирона и ничем больше.

Если бы картавый немец вздумал признаться гордому барону, что он – его отец, то это признание, конечно, было бы отвергнуто с негодованием. Иоганн знал это и молчал, но все-таки судьба барона была дорога ему.

В полную невинность барона в петергофской истории Иоганн верил, и раскрытое Митькой участие в этом деле Ставрошевского вполне подтверждало эту веру.

Нужно было, чтобы Ставрошевский сознался, но исполнить его требования Иоганн медлил потому, что они были трудны, и потому еще, что хотел выждать, не пойдет ли Ставрошевский на уступки.

Митька несколько раз сносился со Ставрошевским, пробуя уговорить его согласиться хотя бы на ссылку в Сибирь, вместо полной свободы и безопасности, но тот твердо стоял на своем и уступить не хотел.

Иоганн думал, что положение барона в полку мало-помалу само собой изменится к лучшему. Но его расчеты не оправдались. Барона товарищи стали уже избегать, а если он ходил по казармам в офицерское помещение, то начинались разговоры, явно намекающие на то, что ему необходимо снять с себя тяготеющее на нем обвинение. Для восстановления честного имени нужны были неопровержимые доказательства, иначе, намекали барону, он должен поступить, как его отец, который по-рыцарски «смыл» свой позор.

Барон Цапф пришел к Иоганну с вопросом:

– Правда ли, что мой отец застрелился из-за какого-то позора, а не случайно ранил себя, как мне рассказывала об этом моя матушка?..

Когда барон рассказал создавшееся для него положение в полку и заявил, что для него нет другого выхода, как покончить с собой, Иоганн признал, что пора согласиться на поставленные Ставрошевским условия и обещать ему все, что угодно, лишь бы он принял вину на себя.

Митька, конечно, не сообщал Иоганну о том, что Ставрошевский знает его тайну. Сам же Ставрошевский никаких подробностей того, как он узнал эту тайну, не сообщил, а ограничился лишь общим ответом, что о семейной катастрофе Цапфов фон Цапфгаузенов рассказал ему какой-то старый барский слуга, с которым он встретился во время своих скитаний.

Иоганн поехал ужинать с доктором Роджиери к пани Марии для того, чтобы увидеть там Митьку и переговорить с ним окончательно.

Иоганн и Роджиери приехали в карете и застали Жемчугова и Ставрошевскую за пуншем у камина.

– Ну, что вам угодно? – спросила она. – Пунша или сейчас ужинать?

– Я предпочел бы ужин, – сказал картавый немец, – потому что не люблю ничего наполовину. Я голоден, а потому мне хочется есть, и я желаю согреться хорошим ужином, а не горячей водичкой.

– А для меня, – сказал Роджиери, – пунш не существует, так как я не пью ничего спиртного!

– Да, да, я знаю, – весело подхватила пани Мария, беря итальянца под руку и ведя его к столу. – Вы пьете только воду и, кажется, готовы вместе с нею проглотить и лодки, и целые корабли.

За стол сели так: по сторонам Ставрошевской доктор Роджиери и Иоганн, а против нее Митька Жемчугов.

– Ведь мы сегодня соединяем приятное с полезным? – начала пани Мария, угощая и распорядясь поставленными на столе яствами. – Будемте же есть и разговаривать о делах!.. Вот Дмитрий Яковлевич, – показала она на Жемчугова, – говорит, что Эрминия совсем поправилась и может переехать в Петербург. Я думаю, лучше всего перевезти ее во дворец, в комнаты ко мне. Пока она была больна ну, еще можно было оставить ее у князя Шагалова в Петергофе; но раз она выздоровела, ей, конечно, приличнее всего находиться под моим крылышком.

Она многозначительно переглянулась с доктором Роджери.

Иоганн, по-видимому, был тоже подготовлен и ел молча, не возражая.

– Тут, пожалуй, будет затруднение с братом Эрминии, – сказал Жемчугов. – Он ни за что не отойдет от нее и не отпустит ее от себя. Надо подумать об этом!

– Ну, его можно записать в придворный штат, хотя бы арапом! – предложил Иоганн.

– Как арапом? – воскликнули в один голос Ставрошевская и Митька. – Ведь он же не черный!.. Ведь если сказать ему это, он, пожалуй, на ножи полезет с обиды.

– Арапом – это только номинально! – пояснил немец. – Дело в том, что арапы при дворе получают больше всего жалованья, и поэтому иногда камер-лакеев даже жалуют в арапы! Кроме того, для арапов штатов не положено и их может

быть сколько угодно!

– А он у вас во дворце не набуянит? – спросил Митька.

– А разве он буйно вел себя в Петергофе? – спросила в свою очередь Ставрошевская.

– О, нет, в Петергофе это – самый тихий человек, но лишь потому, что он видит, что его сестре там очень хорошо.

– Так во дворце ей еще лучше будет, и он, значит, станет держать себя еще тише! – решила пани Мария.

– Ну, что же! Пусть так и будет, – сказал Роджиери.

– И я думаю, что дело наладится! – согласился Жемчугов.

– Это все – пустяки! – начал Иоганн, накладывая себе на тарелку полную порцию паштета. – А вот главное – нужно как-нибудь разрешить дело с супругом нашей хозяйки, с этим врагом господина Брюля. Имеются, кажется, несомненные данные, что он был совершителем нападения на Эрминею в Петергофе и воспользовался для этого мундиром честного офицера, барона Цапфа фон Цапфгаузена.

Говоря это, Иоганн старался не смотреть на Ставрошевскую, а она тоже потупила взор в тарелку и делала вид, что все это вовсе не касается ее, а она занята куском фаршированного поросенка.

– Конечно, барона надо выручить! – уверенно произнес Митька. – И надо, чтобы пан Станислав сознался... Но только вот что: будем ли мы настаивать на том, чтобы он нес непременно наказание? Ввиду его чистосердечного признания, если он, конечно, принесет его, а также ввиду того, что

Эрминия простила его и сама просит не наказывать, можно будет исходатайствовать высочайшее помилование...

– О, да, это можно! – обещал Иоганн. – Но ведь дело в том, что он требует полной свободы.

– Ну, что же! – улыбнулся Роджиери. – Если испросить помилование ему, то можно и выпустить его, и дать полную свободу, согласно обещанию.

– Но как же быть с господином Брюлем? Ведь он требует выдачи этого Ставрошевского! – сказал Иоганн.

– Когда этот человек будет выпущен и данное слово таким образом исполнено, – пояснил Роджиери, – то можно будет опять взять его и отослать в Варшаву к господину Брюлю...

– А знаете, это – очень хорошая идея! – одобрил Иоганн. – Это – чисто итальянская, но очень хорошая идея!.. Мы так и поступим.

– Делайте, как знаете, в этом случае, – проговорил Жемчугов. – Я не могу сюда вмешиваться, потому что пан Ставрошевский, по-моему, совсем с ума сошел. Он со мной вовсе не хочет разговаривать, да и вообще, я свое дело тут сделал, раскрыл вам самую кашу, а как вы ее расхлебаете – это дело ваше!

– Бедный Станислав! – томно произнесла Ставрошевская. – Он мне всегда казался человеком погибшим. Хотите пива? – обратилась она к Иоганну. – Ведь у меня специально для вас приготовлено пиво.

Никто из трех сидевших с нею мужчин не ожидал от нее

такой самоуверенности, и даже этим испытанным в жизни людям стало как будто неловко, и они замолчали.

– Да, всегда хорошо выпить стакан доброго пива! – проговорил, наконец, Иоганн, принимаясь за налитую ему Ставрошевской большую глиняную с серебряной крышкой кружку пива.

– Ну, а теперь, покончив с делами, будем весело ужинать! – предложила пани Мария, как ни в чем не бывало.

И эта странная компания, состоявшая из немца, польки, итальянца и русского, изображавших якобы образец дружбы, но, в сущности, сошедшихся, чтобы перехитрить друг друга, принялась есть, пить и непринужденно разговаривать, причем Митька, да и другие, особенно внимательно следили за своими стаканами и пили только то вино и ели только те куски, которые сначала пробовала хозяйка.

LXII. Хорошая девушка

Когда Роджиери и Иоганн сели в карету, чтобы ехать домой после ужина пани Ставрошевской, Иоганн быстро обернулся к итальянцу и проговорил:

– Вы вполне уверены, что эта полька передана вам?

– Насколько я умею разбираться в людях, да, я доверяю ей; она не обманет меня.

– Ну, а господин Жемчугов?

– Это – очень странный человек! Он, кажется, единственный, мысли которого я не могу прочитать.

– Да, это очень странно! Ведь мои мысли, господин доктор, вы читаете и много раз доказывали это?

– Да, ваши мысли я прочесть могу!

– А вы слышали, как Жемчугов сказал, что Ставрошевский перестал разговаривать с ним?

– Слышал.

– А вы знаете, почему? – вдруг особенно громко произнес Иоганн, потому что карету сильно колыхнуло на ухабе и он мотнулся вперед. – Потому что пан Ставрошевский ревнует господина Жемчугова к своей жене.

– Вот как?

– Да! Я был сам у него в крепости, куда меня пропустили по приказанию герцога, и он сообщил мне, что Митьке Жемчугову он не верит; он так и сказал это! Дело в том, что Жем-

чугов уж очень усердно защищал его жену, а потому – и это главное, – когда он еще был на свободе под именем Финишевича, я поручал ему следить за Жемчуговым, но он не уследил и был в этом смысле обнаружен. Тогда он пошел потом проверять и, проверяя, узнал, что от дома, где живет Жемчугов, весьма легко пройти по задворкам к дому, где живет пани Мария, и что господин Жемчугов ходит по этим задворкам.

– Что же из этого следует, господин Иоганн?

– Что вам не следует доверять пани Марии. Она обманывает вас с Митькой Жемчуговым.

– Вы очень подозрительны!

– О, да, я очень подозрителен, господин доктор, и не доверяю никому. Примите все-таки во внимание, что я сказал вам.

– Хорошо, я приму во внимание! – сказал Роджиери, когда они уже подъезжали к Летнему саду.

Через несколько дней картавый немец прошел в большой дворец, рассчитав так, чтобы попасть туда в то время, когда государыня вставала и, значит, все приближенные находились при ней, а в комнатах этих приближенных производилась уборка.

Он прошел по хорошо знакомым ему коридорам к покоям, отведенным совсем в стороне для Ставрошевской. В распоряжение пани Марии были даны четыре комнаты подряд; они были совершенно отделены от остальных помещений

придворных и примыкали к обыкновенно пустынным нарядным гостиным дворца.

Иоганн отворил двери и увидел хорошенькую субретку; та сделала ему очень грациозный книксен и проговорила по-французски:

– Bonjour, monsieur! : Немец приятно улыбнулся.

– О, я сейчас догадался, – сказал он, – что вы – иностранка! Такой грации не может быть у русской горничной!

– О, нет! – ответила девушка. – Я – русская. Это была Грунька.

– Вы шутите! – произнес Иоганн, продолжая изъясняться на ломаном французском языке. – Но все равно, вы состоите камеристкой пани Марии Ставрошевской?

– Так точно, господин Иоганн.

– Вы знаете меня?

– Да, я видела вас, когда вы были у нас в доме на Невском.

– Отчего же я не видел вас там никогда?

– Оттого, что я очень скоро уехала.

– Одна? без Барыни?

– С барышней.

– Ах, да, с Эрминией! – догадался Иоганн. – А теперь вы вернулись?

– Да, и, как видите, поселились во дворце.

– Это я все знаю, так как сам же помогал устраивать ваше благополучие. Значит, Эрминия здесь?

– Да. Мы приехали вчера; она устала после переезда и те-

перь отдыхает.

– А ваша барыня?

– Она прошла к императрице.

– Ну, вот что, моя добрая девушка, – заговорил Иоганн деловито и внушительно. – Хотя вы как иностранка, вероятно, получаете здесь изрядное жалованье, но все-таки вам хотелось бы еще больше денег; не так ли, добрая девушка?

Грунька грациозно присела, но ничего не ответила в ожидании, что будет дальше.

– Так вот вы можете получить от меня гораздо больше денег, чем то жалованье, которое вам дают.

– Но ведь я должна служить своей госпоже.

– Я вам и буду платить деньги именно за службу вашей госпоже.

Здравствуйте, сударь!

– Понимаю! Вы, значит, хотите жениться на ней или поухаживать и желаете закупить сначала горничную, как это делается во французских комедиях!

– О, нет! В моем предложении нет ничего дурного или предосудительного!

– Да что же тут дурного, если такой кавалер, как вы, станет ухаживать!

Грунька сказала это с таким видом, что трудно было разгадать, сочувствует ли она старому немцу или издевается над ним.

– Но я не хочу ухаживать за вашей госпожой, – серьезно

сказал Иоганн. – Я желаю только, чтобы вы присматривали за ней; она еще молода, может сделать какой-нибудь ложный шаг и погубить свое положение здесь, во дворце, а я могу предостеречь и наставить ее. Так вот ради пользы своей госпожи вы и сообщайте мне все, что она делает.

– А могу я спросить на это разрешение пани Марии?

– Ну, конечно, нет! Ведь тогда пропадет вся занимательность вашего занятия.

– Да что же такого особенного может сделать моя госпожа, что за ней надо следить и рассказывать вам?

– Ну, мало ли что? Она может, например, увлечься каким-нибудь кавалером!

– Пани Мария обыкновенно принимала у себя многих, но до сих пор не увлекалась никем.

– Так ли это? Вы наверно знаете?

– Мне кажется, что наверно.

– У нее не было никого избранного?

– Решительно никого.

– Ну, а например... как его... этот... господин Жемчугов?..

– Митька? – вдруг вырвалось у Груньки.

До сих пор она вела разговор так, как будто была на сцене и разыгрывала роль французской субретки. Но это восклицание вырвалось у нее совсем искренне, по-русски, так что Иоганн вдруг проговорил удивленный:

– А вы и в самом деле русская?

– Нет, вы говорите, что мсье Жемчугов, – заговорила Грунька, опять искусно подлаживаясь под французскую субретку, – может ухаживать за госпожой Ставрошевской?

– О, да! – поспешил подхватить Иоганн, видя, что его слова тронули девушку за живое.

– Какие же тому доказательства? Разве он часто бывает здесь, во дворце?

– Нет, они выдаются в доме на Невском, куда пани Мария ездит отсюда очень часто.

– Ездит часто? Выдаются в доме на Невском? – переспросила Грунька, заметно волнуясь. – О, да! Я это дело проследжу!

– И получите, моя добрая девушка, хорошие деньги от меня... Я к вам заеду через несколько дней, опять в это же время, – заключил Иоганн и вышел из комнаты.

В коридоре у дверей он наткнулся на Ахметку, стоявшего в великолепном восточном костюме со скрещенными руками на груди. Иоганн должен был обойти турка, потому что Ахметка не шелохнулся и дороги ему не дал.

А Грунька, оставшись одна, долго стояла со щеткой, злобно смотря вслед удалявшемуся Иоганну, и, наконец, проговорила с искренним страданием в голосе:

– Проклятый хрыч!

LXIII. Генерал и его секретарь

В саду у генерал-аншефа Ушакова осень так же вступила в свои права, как и во всем остальном Петербурге. Цветы давно поблекли, листья опали и неприятно шуршали под ногами.

Было холодно, и Андрей Иванович не выходил из сада, перебравшись, как он говорил, на «зимние квартиры», то есть вставив вторые зимние рамы и заколотив дверь на террасу.

Ночью он по-прежнему приезжал в Тайную канцелярию; дневные доклады Шешковский привозил к нему на дом, но был принимаем теперь не на вольном воздухе, а в кабинете, обставленном по-зимнему и часто даже, когда дул северный ветер и наступали заморозки, с затопленной изразцовой голландской печкой на бронзовых золоченых ножках. Доклады были не столь приятны, как на вольном воздухе, но все-таки генерал-аншеф Ушаков по-прежнему отличался своей неизменной вежливостью и тонкостью изящного обращения.

– Я думаю, ваше превосходительство, – сказал раз Шешковский, принимая бумаги от генерала, – что герцог Бирон ведет опасную игру.

Ушаков потянул носом табак из табакерки и вопросительно взглянул на своего секретаря.

– Я говорю про эту молодую девушку, Эрминию! – пояснил тот. – Его светлость назначил в штат императрицы пани

Ставрошевскую, поселил ее во дворце, а вместе с ней и мадемуазель Эрминию!

– Что же из этого?

– Неосторожно это, ваше превосходительство! Поздно вечером он, идя от государыни, заходит в комнаты Ставрошевской и проводит там с Эрминией время.

– Это – дело его светлости!

– Ну, конечно, ваше превосходительство! Ведь я только в интересах герцога и говорю! Но представьте себе, что рядом с комнатой, где пребывает Эрминия с его светлостью, существует совершенно пустой кабинетик, из которого слышно все, что делается в соседней комнате, и видно через нарочно устроенное для сего отверстие в стене.

– Да, эти дворцовые постройки всегда очень хитро устроены.

– Я и думаю: а что, как кому-либо придет в голову привести императрицу и показать ей в отверстие в стене, как проводит время герцог Бирон с молодой девушкой! Ведь тогда его падение неминуемо!

– Конечно, все может быть; только можно и сильно попасться с этим. Я не пошел бы предупреждать императрицу. И потом вы все говорите: «падение... падение». Конечно, я желаю его светлости властвовать бесконечно, но нет того плода, который, назрев, не отпал бы сам от дерева, питающего его. В жизни повсюду равновесие, и, раз герцог был вознесен так высоко, есть полная возможность думать, что он

падет, как плод, но тогда лишь, когда, как я сказал, созреет. На ускорение событий, конечно, можно рискнуть, но зачем? И потом: разве так и пойдет государыня по чьему-то указанию вечером из своей опочивальни?

– Но, ваше превосходительство, еще вчера она изволила так выйти, когда ей доложили о привидении.

– Да, – сказал Ушаков, – об этом много говорят. Вы узнавали, в чем дело?

– Ничего понять нельзя. По-видимому, тут было что-то сверхъестественное. Караульный в тронном зале увидел императрицу очень поздно одну и вызвал караул для отдания ей чести. Проходивший в это время от государыни герцог любопытствовал узнать, что такое, и, увидев в зале облик ее величества, сказал, что императрица у себя, что он только что от нее и что это, вероятно, какая-нибудь самозванка. Доложили государыне, и она сама вышла в зал; тут она увидела самое себя, и все видели тоже, что пред ними две Анны Иоанновны. Затем та, которая была видением, достигла ступенек трона и исчезла на них. Императрица сильно взволновалась и сказала: «Это – моя смерть!» Поэтому, я думаю, можно будет вызвать государыню и вторично!

– Все может быть! – пожал плечами Ушаков. – А не есть ли это штуки хотя бы доктора Роджиери... это самое приведение? Приближенным герцога ввиду болезненного состояния императрицы и появившихся у нее припадков во что бы то ни стало хочется, чтобы государыня назначила герцога после

себя регентом, по причине малолетства Иоанна Антоновича! Вы дайте приказ проследить за этим. У вас во дворце кто?

– Жемчугов, ваше превосходительство.

– Да он, кажется, уже совсем стал клеветником его светлости. По крайней мере, он состоит в большой дружбе со всеми приближенными герцога.

– Все мы служим, как умеем, его светлости герцогу Бирону, которому вручена власть государыней императрицей.

– Ну, да, да! Я всегда знал, что вы – примерный служака.

Получив такое лестное одобрение, Шешковский откланялся и отправился к себе домой.

По дороге он встретил Митьку Жемчугова, с беспечным видом гулявшего под оголенными деревьями Невского проспекта, и махнул платком, который держал заранее приготовленным в руке.

Митька шел, как бы не обращая никакого внимания на карету Шешковского, но на самом деле отлично видел поданный ему знак и сейчас же повернул к дому, где жила пани Мария.

Она ждала его.

– Ну, надо действовать! – сказал он.

– Я готова сделать все, что нужно! – ответила Ставрошевская, но на самом деле в ее тоне звучало, что она сделает не то, что нужно, а то, что прикажет ей сделать Митька.

Она была уже в полном повиновении у него, и, как это произошло, сама хорошенько не знала. Было время, когда

она не поддавалась чародейским внушениям доктора Роджери, но против властной мужской, в первый раз ощутимой для нее, силы Жемчугова она была бессильна. Она уже ловила себя на том, что скучает без Митьки и что каждый раз, когда он назначал ей свидание в ее доме, вызывая ее туда по делу, она с совершенно новым для нее замиранием сердца ждет его, и его приход доставляет ей все новую и новую радость.

На этот раз Ставрошевская ждала Митьку с неизъяснимым, почти любовным трепетом. Она надела платье, которое он случайно как-то похвалил, и причесалась особенно тщательно. Она не хотела сегодня делового разговора, но, когда Митька вошел и сказал так определенно, что надо действовать, она помимо своей воли прониклась вся сознанием, что именно надо действовать.

– Скажите мне, пожалуйста, герцог каждый день заходит в комнату Эрминии? – спросил Жемчугов.

– Да, но вернее – не каждый день, а каждую ночь.

– Один?

– Нет, и доктор Роджиери тоже.

– А как же Ахметка?

– Они проходят из парадных комнат, куда Ахметке доступа обыкновенно нет, и появляются в комнате Эрминии через потайную дверь. Ахметка и не подозревает об этом.

– А вы никогда не присутствуете при этом?

– Никогда.

– Но при чем тут доктор Роджиери?

– Я думаю, что он усыпляет Эрминию и внушает ей отвечать на влечение к ней герцога Бирона.

– А вы думаете, что он увлекся ею?

– Иначе трудно объяснить все его поведение.

– Так! – произнес Жемчугов. – Знаете ли вы о существовании рядом с потайной дверью маленькой потайной же комнатки в стене, откуда видно и слышно все, что делается в комнате Эрминии?

– Нет. Я еще не так хорошо знакома с дворцом.

– В парадной гостиной, смежной с комнатой Эрминии, есть большой камин с двумя мраморными львами. Если вы нажмете глаз льва, который направо, то отворится потайная дверь, а если нажмете глаз левого льва, то отворится потайная комнатка. Сюда вы приведете императрицу, как только герцог и доктор Роджиери пройдут в комнату Эрминии.

– Императрицу?

– Да, чтобы она видела, что они делают там, в этой комнате.

– Но ведь это же – гибель для герцога!

– Да, гибель.

– Но как же вы не боитесь, я уж не говорю поручать, но даже поверять мне такие обстоятельства?

– Как видите, не боюсь.

– Ну, а если я выдам вас?

– Вы меня не выдадите.

– Почему же? Если вы думаете, что я не сделаю этого из страха пред вами, то ведь дело, на которое вы посылаете меня, еще более страшно. Я могу предпочесть меньший страх большему.

– Вы не сделаете этого не потому, что боитесь меня, а потому, что любите меня.

Пани Мария при этих его словах будто задохнулась, и яркий румянец покрыл ее щеки. Она беспомощно опустила руки и только тихо прошептала:

– А доктор Роджиери?

– Неужели вы предпочтете мне доктора Роджиери?

Ставрошевская пошатнулась, потом вдруг вскинула руки, обвила ими шею Жемчугова и спрятала свое лицо на его груди.

Митька выпрямился, сделал гримасу и скривил рот на сторону, однако так, чтобы Ставрошевская не заметила этого.

LXIV. Приехали

Иван Иванович Соболев догнал пана Угембло в чужих краях, и они возвращались назад со всевозможной скоростью. Они кратчайшим путем направились в Петербург, не заезжая в Гродно, через Курляндию, потому что тут дороги были лучше.

Старый пан Адам очень полюбил Ивана Ивановича, который понравился ему своей искренностью и добротой. Он рискнул вернуться в Петербург для того, чтобы выручить свою «дочку», как он называл Эрмению. То обстоятельство, что Соболев отправился ради нее за границу, так тронуло пана Адама, что он смотрел на Ивана Ивановича, как на близкого друга и вообще близкого его семье человека.

Во время их путешествия пан подробно расспрашивал Соболева о его состоянии и общественном положении и, видя нескрываемую восторженность молодого человека к своей «дочке», не имел причин мешать их счастью в будущем, если, конечно, Эрмения окажется тоже благосклонною к своему восторженному поклоннику и до некоторой степени рыцарю.

Как ни не хотелось пану Угембло въезжать в Россию, где его обидели своим невниманием новые люди, возвысившиеся после сподвижников Петра, с курляндским конюхом во главе, но ради Эрмении он готов был на всякие жертвы. Од-

нако, как нарочно, на самой границе их встретила неприятность в таможене.

Пан Угембло держал себя несколько вызывающе; это не понравилось, и к нему начали придирааться; пан Адам разгорячился. Дело могло разыгаться в очень неприятную сторону, но, по счастью, Соболев, приглядевшись к таможенному чиновнику, узнал в нем Пуриша. Последний одним своим видом живо напомнил пережитое им время в Петербурге, и он так обрадовался ему, что кинулся на шею и стал целоваться.

– Ты что тут делаешь? Какими судьбами? Да как же так? – посыпались вопросы с обеих сторон.

Оказалось, что Пуриш промотался в Петербурге до последнего, долги одолели его, и он, чтобы не быть посаженным в тюрьму заимодавцами, поступил на службу таможенным чиновником, благодаря кое-каким оставшимся у него связям.

– И, знаешь, тут очень хорошо! – рассказывал он Соболеву. – И я весьма доволен. Есть и общество, и превосходные вина, конечно контрабандные из-за границы. Мы тут здорово пьем.

По-видимому, Пуриш нашел свое «призвание» и успокоился навсегда, став вполне довольным и собой, и своей жизнью.

– Ты, значит, большего ничего и не желаешь? – спросил Соболев.

– Говорю тебе, что чувствую себя великолепно. Да что ж так-то разговаривать? Выпьем. И своего попутчика приглашай!

Неприятная сцена закончилась тем, что пан Угембло распил с Пуришем бутылку вина, затем велел принести из своего дорожного запаса бочонок венгерского и стал угощать таможенных. В конце концов получилась веселая попойка, в которой не только никто не поминал о начавшемся недоразумении, но даже пану Адаму пели величание и, совсем уже пьяные, качали его на руках.

Угембло после этого остался страшно доволен своим въездом в Россию и всю дорогу, вплоть до Петербурга, относился весьма снисходительно к тогдашним русским порядкам, не вспоминая на каждом шагу и не рассказывая, как он это делал всегда, что при Великом Петре совсем не так было.

На таможене у него с того и началась ссора, что он сказал: – Я – слуга великого царя Петра, а вы – приспешники немца Бирона!

Соболев с каждой минутой приближения к Петербургу становился все более и более радостным, и беспокойство за судьбу Эрминии заменялось у него надеждой на близость вполне благополучного свидания.

Почему-то на него очень успокоительно подействовал Пуриш.

«Вот человек устроился! – думал он. – Пришел к своей пристани... определился, так сказать, и заживет теперь ров-

ною жизнью!.. Что может быть лучше этого?»

И ему казалось, что если уж Пуриш остепенился и зажил ровною жизнью, то с какой же стати эта ровная жизнь будет чуждаться его, Ивана Ивановича Соболева, который все время только и желал, и желает мира, тишины и спокойствия.

Под всем этим он подразумевал, конечно, семью, и главой в этой семье была в его мечтах, само собой разумеется, Эрминия.

Едучи в громоздкой дорожной карете с паном Угембло, Соболев зажмурился и старался представить себе, где теперь Эрминия, что она делает, ждет ли его, думает ли о нем. За ее безопасность он не беспокоился, потому что знал, что ее оберегают Митька Жемчугов, князь Шагалов и Ахметка, а на этих людей можно положиться.

Как это всегда бывает, последние версты тянулись для Соболева бесконечно; наконец, блеснули окна родного дома.

На улице было совсем темно, когда они подъехали. Тяжелая карета, качнувшись, словно корабль на волне, завернула в ворота, в доме хлопнули двери, и на стеклянной галерее, освещенной сальным огарком в фонаре, показался бегущий Прохор.

– Прохор, здравствуй! – обрадовался Соболев и сейчас же показал на старого слугу пану Угембло и сказал: – Вот это – наш Прохор, помните, я рассказывал о нем? Так вот это он и есть Прохор!

Высыпали другие дворовые; Митька Жемчугов выбежал

тоже на двор без шапки, как был в комнатах.

– Ванька!.. Клецка!.. Здравствуй, милый мой! Все, брат, благополучно!.. Хорошо! – крикнул он Соболеву и тут же на дворе представился пану Адаму, сейчас же догадавшись, что это и есть приемный отец Эрминии.

Для Угембло отвели лучшую комнату в доме с изразцовой лежанкой и принесли в нее из кладовой все лучшие ковры, какие только были, и устлали ими пол и обвесили стены.

Решено было завтра затопить баню, а сегодня поужинать слегка и лечь спать.

Пан Адам, сильно уставший с дороги, просил извинить его, старика, и пошел к себе поскорее лечь.

Соболев тоже было пошел, но вернулся в комнату к Жемчугову и стал расспрашивать:

– Так она во дворце теперь? С пани Ставрошевской? Ну, конечно, там она в безопасности! И Ахметка при ней! Все это великолепно!.. Но, Митька, послушай: ведь мы же увидимся с Эрминией завтра?

– Разумеется, завтра. И ее приемный отец, вероятно, возьмет ее к себе?..

– То есть ведь это, значит, сюда, к нам!.. Ты пойми... Надо принять как следует! Я хочу деньги взять взаймы. Я, Митька, теперь большой долг сделаю! – воскликнул Соболев.

– Хорошо! Только обо всем этом завтра переговорим с утра, а теперь я тороплюсь.

– Куда же именно?

– Да во дворец, к пани Ставрошевской... чтобы сказать ей, что вы приехали, и чтобы она подготовила Эрминию, а то та может слишком взволноваться, и это ей будет вредно.

– А мне с тобой нельзя?

– Во дворец?.. Вечером? Нет, тебе неудобно. Может выйти история; да и попадешься на глаза картавому немцу, тогда и совсем плохо будет...

– Ах, да, еще этот картавый немец! – вспомнил Соболев.

– Ну, с ним как-нибудь сделаемся.

В это время в стекло окна ударилась горсть песка, что служило условным знаком, по которому Грунька вызывала Жемчугова.

Но Митька не обратил или не хотел обратить внимание на это; он просто взял шапку и плащ и направился к двери.

– Митька... так завтра! – воскликнул Соболев. – Знаешь, мне кажется, я не доживу до завтра... Значит, завтра?

– Да, да! – подтвердил Митька, уходя, и подумал: «Завтра можешь получить свою Эрминию! Она нам будет больше не нужна!»

Едва успела затвориться дверь за Митькой, в комнату, разбив стекло, влетел порядочной величины камень. Соболев поднял окно, высунулся в темный сад и крикнул:

– Кто там балуется?.. Я вот сейчас собак велю спустить!

LXV. Ревность

Когда картавый немец Иоганн поручил Груньке следить за пани Марией, чтобы выяснить, нет ли у нее каких-нибудь особенных сношений с Жемчуговым, она и поверила, и вместе с тем не поверила этому. Поверила она потому, что знала, что другого такого, как Митька, на свете нет, и что не только пани Мария, а всякая женщина, будь она в сто раз лучше пани, сочтет за счастье сойтись с Митькой – такой уж он человек сверхъестественный! Не поверила она этому потому, что это было бы слишком жестоко со стороны Митьки и слишком большое горе для нее, Груньки! Ведь это была бы такая подлость, на которую Митька не мог быть способен!

Грунька пробовала успокоиться и подумать, но в первый же раз, как Ставрошевская отправилась из дворца к себе в дом, на Невский, она последовала за полькой. Однако догнать ее Грунька не могла, потому что пани Мария ехала в карете, а Грунька побежала пешком. Зато, добравшись до дома пани, она вбежала по знакомой ей черной лестнице, перекинулась, как будто ни в чем не бывало, приветствием с гайдуками и на цыпочках, так тихо, что сама не слышала своих шагов, подкралась к завешенной портьерой двери, к комнате, где разговаривала пани Мария с Митькой. Подойдя к двери, она совершенно отчетливо и ясно услышала, как Митька произнес:

– Потому что вы меня любите.

У Груньки помутилось в глазах: в первую минуту она думала, что слышит это в бреду, но затем до нее донесся опять голос Жемчугова, говоривший, как казалось Груньке, с необыкновенной нежностью:

– Неужели вы предпочтете мне доктора Роджиери?

Грунька чуть раздвинула портьеру и увидела, как пани Мария вскинула руки на плечи Митьки и обняла его. При виде этой картины девушка не вскрикнула, не грохнулась в обморок, замерла вся и сейчас же поняла, словно ее осенило какое-то вдохновение, что если она сейчас выкажет себя, то это будет глупо, так как Митька и пани Мария насмеются только над нею, все-таки только крепостной девкой.

«Но погоди ж ты! – подумала она, кусая до крови себе руку, чтобы болью заглушить то, что делалось у нее на сердце. – Погоди ж ты! Я тебе отмщу!»

Не зная еще, в чем будет заключаться ее месть, но заранее испытывая ее наслаждение, она опять на цыпочках, по-прежнему крадучись, вернулась к себе в комнату и, остановившись, уставилась взором в одну первую попавшуюся точку. Ее глаза были сухи, в груди горело, рот пересох.

Сколько времени простояла так Грунька, входил ли кто-либо к ней в комнату, звонил ли звонок – она ничего не знала, да и не хотела знать.

Однако мало-помалу ее мысли начали возвращаться к ней, и она стала соображать, что же, собственно, ей делать.

Виденное ею представилось ей не как в действительности происшедшее, а словно бывшее в каком-то видении, невероятном по своему ужасу. Для того, чтобы поверить в него, ей нужно было еще хоть какое-нибудь подтверждение, хоть что-нибудь, что убедило бы ее, что она не грезит и что в действительности так оно и есть.

Грунька вспомнила о поваре Авенире, который ведь все время был тут, в Петербурге, а потому должен был все видеть и знать. Она быстро кинулась в кухню. Там сегодня не готовили, потому что пани Мария обедала сегодня во дворце; но повар Авенир узнал каким-то образом, что Грунька появилась, и ждал ее в кухне, наскоро приготавливая ей винегрет а ла русс, на случай, если ей угодно будет покушать.

Грунька с хитростью насмерть оскорбленной женщины и с талантом ученой актрисы стала разыгрывать роль пред Авениром. Она не отказалась от винегрета, принялась есть его и начала спрашивать повара Авенира о том, что было тут без нее.

Он же, при первом ее вопросе, часто ли бывал здесь Жемчугов, чутьем влюбленного понял, в чем дело, и не пощадил красок для того, чтобы изобразить вероломство Митьки. Он рассказал, как он должен был готовить особые ужины для пани Марии и Жемчугова, как при этом она заказывала по преимуществу любимые кушанья Митьки и так и говорила Авениру: «Сделай, братец, паштет: Дмитрий Яковлевич очень любит его!» Передавал он также о рассказах гайду-

ков, которые якобы, подсматривая в дверную щель, видели сцены нежности между Митькой и Ставрошевской.

Грунька чувствовала и понимала, что Авенир врет; но если хотя десятая доля того, что он рассказывал, была правдой, то мало казалось убить этого «изменника» Митьку.

Наслушавшись рассказов Авенира, Грунька поднялась к себе в комнату и там предалась слезам и отчаянию. Тут только ее, что называется, прорвало слезами, и она убивалась там, сидя одна до самого вечера.

Вечером, когда стемнело, Груньке стало страшно одной. Рассказы о виденных в Петербурге привидениях дошли и до нее, и, в каком ни была она отчаянии, ей все-таки стало жутко, и она спустилась в людскую. Там были нахальные гайдуки, с которыми она никогда не любила разговаривать, да повар Авенир, сумрачно, исподлобья смотревший на нее. Все это было Груньке противно, даже отвратительно, впрочем, так же, как и все, куда бы она ни пошла, во всем мире.

В течение того времени, пока Грунька сидела плача в своей комнате, у нее составилось несколько планов мести, и все они были одинаково жестоки и даже тонки и хитры. Но по мере того как шло время, ей все больше и больше хотелось пойти прямо к Митьке и попросту плюнуть в его бесстыжие глаза.

Напрасно она представляла себе, как было бы хорошо прикинуться ничего не знающей и потом сказать в нужную минуту: «Мне все известно! Меня не обманешь!» – она все-

таки не могла выдержать и отправилась по знакомому пути в соболевский сад и, находясь там, увидела через окно в комнате Митьку с Соболевым.

При виде Жемчугова ее вдруг охватила сумасшедшая мысль:

«А вдруг как ничего не было и все по-прежнему?»

Тогда она привычным движением подняла горсть песка с дорожки и кинула. Она видела, как Митька оглянулся и, значит, не мог не заметить поданного ему знака; однако он повернулся к двери и ушел.

Тогда Грунька, уже не помня себя, схватила камень и кинула им в стекло. Когда же Соболев поднял окно и высунулся, она крикнула:

– Иван Иванович, это – я, Грунька!.. «Снявши голову, по волосам не плачут!» – подумала она и стала, как ей казалось, разбивать все, что было кругом нее, не зная уже удерживать в закипевшей в ней злобе.

– Грунька! Ты чего? – обрадовался Соболев.

– Идите сейчас ко мне!.. Идите!..

– Да что случилось такое? – стал спрашивать Соболев, чувствуя по тону Груньки ее беспокойство.

– Ничего!.. А только вы – хороший и правдивый человек, а вас обманывают и надругаются над вами... над всеми хорошими людьми надругаются... Идемте сейчас!

– Да куда идти-то?

– Со мною, во дворец!..

– К Эрминии? – оживленно воскликнул Соболев. – Спрашивала?.. Говорила?..

– А вот пойдёмте, я вам покажу её! – со злорадством проговорила Грунька.

– Сейчас! Возьму только шляпу и плащ!..

– Ну, берите скорей!.. Экий неповоротливый!.. Да прыгайте сюда, в окно!.. Я проведу вас через сад, так, чтобы никто не знал, что вы ушли со мною...

LXVI. Пятого октября

Как ни расспрашивал Иван Иванович Соболев Груньку по дороге во дворец об Эрминии, та отделялась только короткими ответами, говорила, что Эрминия здорова и чувствует себя даже очень хорошо, а остальное, мол-де, он увидит сам.

Теперь именно в том и был весь расчет Груньки, чтобы Соболев увидел Эрминию сам в таком положении, которое сразу убедило бы его, что он обманут и несчастен совершенно так же, как обманута и несчастна сама она, Грунька. Прежде всего тут было для нее утешение, что страдает не одна она; затем в этом заключалась страшная месть, сразу и пани Марии, и Жемчугову, и всем его новым друзьям.

Грунька знала, что как раз, когда они придут во дворец, доктор Роджиери с герцогом будут в комнате у Эрминии, проведенные туда при посредстве Ставрошевской. О существовании потайной комнатки Грунька знала благодаря тому, что ей показал ее один из гоф-курьеров как курьезную штучку, желая заиграть с нею и привлечь к себе ее внимание. Теперь она хотела провести в эту потайную комнату Соболева и показать ему, что делается в комнате его Эрминии и как она проводит время с герцогом Бироном в его, Соболева, отсутствие.

Она была уверена, что Соболев не выдержит, заорет, начнет скандал, явится Ахметка, во дворце разыграется исто-

рия, виной которой будет прежде всего Ставрошевская, и все ее благополучие тогда рухнет.

Взбешенный герцог сотрет с лица земли пани Марию, а то и сама государыня, если дело дойдет до нее, что очень вероятно.

Всех подробностей в своем злобном ослеплении Грунька не обдумывала; все это пришло в голову вдруг, при виде Соболева, и она вела его и торопила, желая поспеть вовремя, когда герцог и Роджиери будут у Эрминии.

Во дворец она провела Соболева довольно свободно, потому что, по нравам того времени, не было ничего предосудительного в том, что субретка проводит за собой молодого человека. К тому же Соболев, по указанию Груньки, был щедр, в нем сейчас же признали барина и пропустили.

Грунька уже отлично знала расположение комнат, знала, что «их» коридор кончался дверью в большую парадную пустынную гостиную с камином, и проникнуть таким образом в нее было не трудно.

Она благополучно провела Соболева через коридор, затем, нажав пуговку в глазу каминного льва, отворила дверь в тайник, впустила туда Соболева и бросилась бежать к себе в комнату, которая была рядом со спальней пани Марии и была соединена с ней запертой на ключ дверью, так что нужно было ходить кругом, через коридор; однако, если приложить ухо к щели этой запертой двери, то можно было слышать все, что делалось в спальне.

Груньке почудились там голоса. Так как никто другой, кроме Ставрошевской и Жемчугова, там разговаривать не мог, то Грунька приникла к двери, прижавшись к ней всем телом.

– Я говорю, что надо идти! – сказал голос Жемчугова.

– Как? Сейчас? К государыне? Не лучше ли подождать еще день?

– Ждать нельзя. Завтра пан Угембло, вероятно, возьмет Эрминию к себе.

– А разве он приехал?..

– Только что, вместе с Соболевым. Вы видите, что необходимо действовать сегодня.

Наступило продолжительное молчание, после которого голос Ставрошевской сказал:

– Нет, что хотите, я не могу. Я боюсь... Нет, сделайте со мною, что хотите, я не могу.

– Я не знал, – проговорил Жемчугов, – что вы – настолько слабая женщина, что, раз решившись, можете отступить в последнюю минуту.

– Пусть я – слабая женщина, – сказала Ставрошевская, – но я не могу...

– Ну, слушайте!.. По-моему, вам выбирать не из чего: если вы сейчас сами не пойдете к государыне и не приведете ее к тайнику, чтобы она видела, что делает герцог в комнате Эрминии, то через пять минут это будет сделано помимо вас, и тогда вам придется отвечать пред императрицей за то, что

вы у нее во дворце способствовали шашням герцога. Да еще смотрите – он сумеет свалить все на вас, и вы одна останетесь в ответе. Оправдать себя пред государыней вы можете только тем, что выдадите изменника ей.

«Так, так! – думала Грунька. – Пусть они пойдут, там, в тайнике, Соболев! То-то начнется потеха!.. Странно только то, что Митька разговаривает со Ставрошевской вовсе не любовному!»

– Но через кого же вы через пять минут доведете до сведения государыни, что вам нужно? – произнесла пани Мария в спальне.

– Через Груньку! – ответил Жемчугов. – Она сделает это, потому что любит меня по-настоящему!

– По-настоящему? Горничная!.. Крепостная!..

– Когда она выйдет за меня замуж, она перестанет быть крепостной.

– Замуж за вас?

– Что же тут удивительного? Я люблю ее и знаю, что она будет достойна Митьки Жемчугова! Кстати, хотел я вам сказать это, потому что нынче утром вышло как-то неладно у нас: вы даже мне на шею кинулись, и мне было неприятно, что я вам не сказал всего тогда же! А теперь выбирайте: или вы будете отвечать вместе с герцогом, или пойдете сейчас к государыне...

– Я иду! – сказала Ставрошевская. Грунька тихо ахнула и всплеснула руками: «Дура петая! Что я наделала!»

LXVII. Что видел Соболев

Когда Соболев, очутившись в тайнике, посмотрел в маленькое отверстие, которое сейчас же нашел по пробивавшемуся из него лучу света, он увидел всю комнату и все, что было в ней.

Эрминия сидела в кресле посреди комнаты, в спокойной позе, с откинутой на спинку кресла головой; ее лицо было тихое, она приятно улыбалась и ничуть не казалась ни взволнованною, ни вообще чем-нибудь обеспокоенною. Герцог Бирон, положив ногу на ногу, сидел поодаль у стола, на котором горела большая масляная лампа. Доктор Роджиери стоял пред Эрминией с протянутыми к ней руками.

– Хочешь ли ты отвечать, – спросил он по-французски, – и веришь ли в то, что мы не хотим тебе никакого зла?

– Верю! – ответила Эрминия. – Вы мне зла не хотите; но то, что вы желаете для себя, сделает вам зло.

«Она – ясновидящая! – сообразил Соболев. – И они пользуются ее просветлением».

Он вспомнил рассказы о том, что если испугать ясновидящего во время его просветления, то с ним может случиться припадок, грозящий ему сумасшествием, а потому затаил дыхание; он видел, что и доктор Роджиери, и Бирон обращаются с Эрминией очень бережно, и ни один из них лично на нее не посягает.

Теперь все стало понятно Ивану Ивановичу: он понял, зачем Эрминия нужна была доктору Роджиери, ради чего она была спрятана в заколоченном доме, и почему она никогда не видела приезжавшего туда герцога. Бирон желал узнать от доктора Роджиери свою судьбу, а также получить совет относительно того, что ему делать, потому что его положение было очень затруднительно. Роджиери же, очевидно, нашел в Эрминии очень просветленную ясновидящую и пользуется ею для ответов Бирону.

Положение герцога было затруднительно потому, что здоровье государыни сильно пошатнулось: у нее были подагра и каменная болезнь. Со смертью Анны Иоанновны герцог видел неминуемость своего падения и не знал, как обеспечить себя.

– В чем же будет заключаться зло для нас? – спросил Роджиери, переглянувшись с Бироном, который кивнул ему головой.

– В том, что всякое возвышение неминуемо влечет за собой падение во имя закона равновесия.

– А, значит, возвышение будет?

– Да! – ответила Эрминия.

– Герцог возвысится еще более, чем теперь?

– Он будет почти императором...

– Это очень неопределенно! Постарайся посмотреть в будущее попристальнее!

Эрминия молчала.

– Сделай усилие, если тебе это не трудно! – сказал Роджиери.

Эрминия опять помолчала и потом проговорила:

– Он будет регентом.

– Что нужно сделать для этого?

– Нужно, чтобы была составлена петиция императрице.

– А она утвердит ее?

– О, да!

– От кого должна быть петиция?

– Ни от кого особенно; но чем больше подписей, тем лучше.

– Ты не устала?

– Нет.

– Кому поручить это дело?

– Миниху и Бестужеву.

«Поразительно! – подумал Соболев. – Она отвечает им по-французски, хотя не умеет говорить на французском языке, и называет Миниха и Бестужева, о которых едва ли имеет понятие».

– А они возьмутся? – спросил Роджиери.

– Возьмутся потому, что сами боятся потерять все вместе с герцогом, – ответила ясновидящая.

– А как скоро предстоит герцогу возвышение?.. Сколько пройдет до этого времени?

– Двенадцать дней.

– Через двенадцать дней герцог станет регентом?

– Да.

– А императрица?

– Ее не станет.

– Разве она так больна?.. Проверь себя! Ты можешь видеть сейчас императрицу?

– Я вижу ее. Она у себя в спальне, она улыбается. К ней входит...

– Кто?

– Сейчас... Ну, конечно, это – пани Мария... Она что-то начинает говорить... Государыне дурно... О-о!

С ней делается припадок... Бегите к ней... помогите... это – начало конца!..

– Вы слышали? – обернулся Роджиери к герцогу Бирону. Но тот медлил.

– Идите же! – снова повторила Эрминия. – Или уже будет поздно, и вы упустите время!

Тогда герцог поспешно вышел из комнаты, а доктор Роджиери провел несколько раз руками над Эрминией, после чего она закрыла глаза и задышала ровно, видимо, погрузившись в безмятежный сон.

Итальянец вышел вслед за Бироном в потайную дверь, и Соболев слышал из тайника их удаляющиеся шаги по большой гостиной.

Соболев не мог выдержать.

«Будь, что будет!» – решил он, после чего вышел из тайника и наудачу попробовал отворить потайную дверь, также

нажав кнопку в мраморном льве с левой стороны, потому что видел, как это сделал Бирон в комнате Эрминии, где был точь-в-точь такой же камин.

Дверь отворилась. Иван Иванович очутился возле Эрминии и, сам не зная, что делает, опустился пред нею на колени и взял ее за руки.

В это время все во дворце уже знали, что у государыни смертельный припадок ее болезни, и эта весть быстро понеслась по городу через курьеров, немедленно разосланных герцогом к разным лицам с приглашением немедленно явиться во дворец.

Ставрошевская, когда при ней начался припадок у Анны Иоанновны, кинулась звать на помощь и, собрав нужных лиц к императрице, сама отправилась в свои комнаты, чтобы предупредить находившегося там герцога и сказать Митьке Жемчугову, что она ничего не могла сделать, потому что императрица умирает.

Пока она шла к себе в обход по коридорам, Бирон с Роджиери успели выйти из потайной двери и направиться к императрице напрямик через парадные комнаты.

Ставрошевская подошла к комнате Эрминии и остановилась. Как предупредить герцога, она не знала: постучать, сказать что-нибудь в дверь?

И вдруг ей пришло в голову проникнуть сначала в тайник и посмотреть, что делается в комнате. Да и любопытно это было!

Пани Мария мигом очутилась в тайнике и увидела сидящую посреди комнаты Эрминию, а перед нею на коленях Соболева. Он целовал девушке руки, а она радостно говорила ему что-то.

Сначала Ставрошевская поразилась до испуга; но то, что было перед нею, или, вернее, перед ее глазом, который она приложила к отверстию, она видела так ясно, что в истинности видимого нельзя было сомневаться.

Тогда она, забыв об императрице, герцоге и обо всем, отправилась к себе за Митькой Жемчуговым, притащила его в тайник и сказала:

– Смотрите!..

Митька посмотрел и развел руками, увидев вместо герцога и доктора Роджиери в комнате Эрминии влюбленного в нее Соболева.

LXVIII. Конец тайны герцога

Когда настал конец тайне герцога, то есть она была узнана Соболевым и раскрыта им ближайшим друзьям, события пошли как бы с усиленною скоростью к развязке и распутались почти сами собой.

Грунька во всем призналась Жемчугову; да и трудно ей было не сделать этого, так как необходимо было объяснить, почему она привела Соболева в тайник.

Судьба Соболева и Эрминии определилась, как нечто уже предрешенное, и старик Угембло благословил дочь на брак с Соболевым с тем большей охотой, что, как было вычитано им в специальной книге, она с замужеством теряла дар ясновидения, присущий якобы только девственницам, и становилась таким образом вне опасности от доктора Роджиери.

На радостях Ахметка забыл обет мести, данный им, когда было сделано покушение в Петергофе на жизнь его сестры.

Князь Шагалов, несмотря на осень, опять дурачился под деревьями на Невском, забирая веревкой прохожих.

Цапф фон Цапфгаузен был наконец вне подозрений, потому что Ставрошевский сознался во всем. По приказанию Иоганна, его выпустили с тем, чтобы сейчас же поймать вновь; но Ставрошевский, очевидно, предвидел это и скрылся из Петербурга почти в ту же минуту, как его выпустили, скрылся так чисто, словно провалился в землю.

Да его и не особенно искали. Письмо Брюля было, вероятно, написано на всякий случай, без определенных данных. Повторения он не присылал и не настаивал на розыске Ставрошевского.

Да, кроме того, в Петербурге было теперь не до Брюля и не до угодливости по отношению к нему!

Заболев пятого октября, государыня не отпускала от себя герцога Бирона, но вместе с тем и не подписывала своего согласия на петиции, поданной ей за ста сорока восьмью подписями разных сановных лиц, о назначении в случае ее смерти регентом Российской империи герцога Бирона. Петиция лежала на столике у изголовья государыни; она была составлена Бестужевым и привезена Минихом.

Наконец Анна Иоанновна поставила свою подпись на этой бумаге и таким образом отдала фактическое распоряжение Россией в руки Бирона на все время малолетства племянника своего Иоанна Антоновича, избранного ею наследником престола.

Анна Иоанновна умерла через двенадцать дней после первого смертельно жестокого припадка, то есть 17 октября 1740 года.

Попытка искусственно устроить падение Бирона не удалась, несмотря на все умение и хитрость, проявленные в этом деле Митькой Жемчуговым. Напротив, вместо погибели герцог Бирон возвысился еще более.

Дальше идти ему уже было некуда, и доктор Роджиери мог

и без указания ясновидящей, просто по расчету, предвидеть, что если что и ожидает герцога впереди, то это будет изменение его положения к худшему. Дурным же пророком-предсказателем хитрый итальянец быть не хотел и потому, сославшись на то, что боится, как уроженец юга, наступавшей в Петербурге зимы, он уехал искать счастья в иных, более приятных по климату странах.

Пани Ставрошевская отправилась с ним и была, по-видимому, очень довольна этим своим отъездом.

Когда венчали Соболева, Грунька тоже присутствовала в церкви; к ней подошел Митька и шепнул, толкнув в бок:

– Дай срок, Грунька, так вот и нас обведут вокруг аналоя!

Барон Цапф фон Цапфгаузен все по-прежнему остался в неведении о том, что он – сын картавого немца Иоганна, ставшего теперь, с возвышением герцога, еще более значительным лицом. Однако барон один раз поставил господина Иоганна сильно в тупик, спросив у него, что значило на его пальце железное кольцо, которое он носит постоянно. Иоганн очень смешался при этом вопросе и после некоторого колебания проговорил:

– Это, может быть, вы узнаете только после моей смерти.

Барон принял такой ответ за более или менее образное выражение, но на самом деле это был намек на действительность. Темное траурное железное кольцо прислала Иоганну мать барона, после того как он родился, и по сделанной надписи внутри кольца, которого Иоганн никогда не снимал,

можно было узнать об истинном происхождении молодого Цапфа фон Цап-фгаузена.

По поводу регентства герцога Бирона Андрей Иванович Ушаков, потягивая носом табак из своей золотой табакерки, сказал однажды Шешковскому, явившемуся к нему с докладом:

– Я думаю, теперь плод созрел и скоро упадет. Шешковский понял без дальнейших объяснений, что генерал считает дни регента Бирона уже сочтенными.

Так оно и было: герцог Бирон с регентского кресла был отправлен в ссылку, а как это случилось и какое принимали в этом участие лица, действовавшие в настоящем рассказе, об этом любопытные, может быть, узнают когда-нибудь впоследствии.